

Литературный Современник

3

Литературный Современник

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТИКИ

№ 3



*Николай Васильевич Гоголь (4. 3. 1852 — 4. 3. 1952)
К столетию со дня смерти*

П Р О З А

Б. ЯКОВЛЕВ

В сумерках

Тих и спокоен зимой Барыш. Осенью, когда покроется он блестящей и хрупкой ледяной корой, еще шумят на нем ребячьи ватаги. Шныряют на коньках-самоделках, гоняют палками легкие камушки, глушат по омутам окуней. Но после Николина дня морозы крепчают, лед грубеет, пойдут метели и сравняют под белым покровом реку, и прибрежные луга, и холмистые поля. Все тогда замирает и только ветер шуршит в метелках камыша.

Тих и спокоен зимой Барыш. Тихо и в селе Ключи, избы которого разбежались и застыли по крутому берегу речки.

У самого лугового обрыва застряла в снегу избенка Петра Прохорова. Самого то хозяина нет, дома одна-одинешка тетка Анна. Зимой день короток — тает, как снежинка на ладони. Сходит Анна в колхозное управление, да, какая зимой работа, отберет бригадир кой кого, а остальных отпустит по домам. Придет она домой, уберется по двору, приберет в избе и свободна. Сядет и думает. А подумать есть о чем.

Вспомнит, как еще совсем молодой вошла в этот дом. И свадьбу разгульную и шумливую помнит — ленты вплетенные в гривы лошадей, прибаутника дядю Акима, бывшего дружкой, хмель, которым обсыпали молодых, когда они, вернувшись из церкви, всходили на крыльцо. Давно это было. Нет теперь таких обычаев. Но отзвенели свадебные дни, сплыл

сладкий месяц и потекла обычная трудовая крестьянская жизнь — изо дня в день, из года в год.

Был Петр и на войне, на той, на прошлой — не ранили. Гражданскую тоже отслужил благополучно, здоровым домой вернулся. Колхозы тоже пережили: трудно было сначала — ничего, привыкли. Двоих сыновей вырастила тетка Анна — Сергея и Николая. И все было ладно, да вот снова война. Забрали сразу Сергея и Николку. А погода потребовали и мужа Петра, хоть у него на висках серебро заблестело. Так горе за горем, беда беду догоняет: в Великий пост пришла похоронная — где то в брянских лесах погиб Сергей за Родину. Николай до конца года писал, а потом и он замолчал — нет никаких известий.

Застилают слезы глаза. Дрожащей рукой достает Анна из-за пазухи аккуратно сложеное, но зачитанное письмо Петра. Знает она наизусть — эти по мужичьи скупые и суровые слова мужа:

«... А пока я жив и здоров. Служу в обозе в городе Угличе. Ходят разговоры будто часть наша уже обучена и вскорости на фронт. А об сыне Сергее ты не больно убивайся, что ж делать, со всеми нами это может случиться».

Сумерки. Мертвые сумерки безветренного, пасмурного зимнего дня. Зазвонили к вечерне. Колокола нет — звонят в подвешенный кусок рельса. Высокий тонкий звук еле

долетает до края села. Анна встала, хотела зажечь коптилку, но раздумала — керосина нет, экономить надо.

Подошла к окну. Последний плачущий звук донесся и замер. Глядит тетка Анна в смутное, заплывающее темнотой окно. Глядит и думает.

И — как иногда бывает — предстала пред ее глазами вся ее жизнь с трудами, заботами, горем. Увидела она ее всю сразу — от первых детских слез и до этого последнего вечера. И как то вдруг стало понятно, что жизнь прожита, что вся она уже за плечами. Стало ясно, что горя и печалей в жизни было куда больше, чем радостных дней. И еще увидела она, что все то, для чего жила, страдала, переносила тяготы и невзгоды и ради чего готова отдать остаток жизни — это сыновья и муж. Но их тоже нет. Ей представилось, что Николай погиб также, как и Сергей, что Петр тоже, не то жив, не то нет, а она осталась одна среди этого заснеженного, мертвого, ночного поля. От такой мысли великий страх вошел в нее. Оглянувшись растеряннотой отошла от окна. А через минуту из темноты переднего угла послышались никогда, никем и нигде ненаписанные слова молитвы:

— Господи! Прими во царствие Твое сыновей моих Сергея и Николая. Матерь, пресвятая, пречистая Богородица, спаси и помилуй, сохрани мужа моего Петра. Только он остался у меня, а больше уже никого на свете нет. Никакой опоры и поддержки...

На вымытый и выскобленный до бела пол падали частые и горячие бабьи слезы.

Так и началось с того вечера —

когда сумерки окутывали белые луга, холмы, речную пойму и темнота заполняла все углы избы, Анна становилась на том-же месте, где впервые прочла свою молитву и повторяла ее слово в слово. Потом облегченная укладывалась на лежанке, закрывала глаза, слушала как от мороза на Барыше потрескивает лед.

И длинные ночи проходили в спокойной тишине, короткие дни таяли снежинками на теплой ладони.

А потом в село Ключи на имя Анны Прохоровой пришло письмо. Оно тоже было скупое — несколько строк на тетрадном листе. После приветствий сразу же было написано:

«Спешу уведомить, тетка Анна, про печальное известие. Муж Ваш Петр по сообщениям в нашу роту был убит разрывом снаряда и похороненный с другими павшими на берегу речки Лучесы у деревни Светлая. Я знаю то место, оно высокое и с берега вид далекий. Только ты не горюй, со всеми нами это случиться может.

Сосед Ваш Иван Кожин».

Сначала Анна как-то не поняла написанного, потом легла на лежанку, лицом кверху. Смотрела в потолок и слезы текли с глаз по вискам в волосы, в серый домашний платок, на подушку.

Весь день она не подымалась. Но когда по земле поползли сумерки, смутным стало окно и потемнело в углах избы, она отошла от лежанки. Несколько минут стояла неподвижно, вслушиваясь в себя. Потом решительно покачала головой, словно не соглашаясь с кем то, подошла к переднему углу, и также, как и вчера, как две недели назад повторила заученные слова.

Февраль 1947 г.

***** *

.

Жизнь, волной размытая

[Окончание]

Через широкую щель между дерюгой, заменявшей дверь, и стенкой шалаша виден был берег — полоса ила, похожие на розги прутья безлиственных кустарников, стволы пихт.

Костя Котов видел, как берег сдвинулся с места, подался в сторону и медленно поплыл.

— Теперь не стонят. Счастливой дорожки! — пожелал он сам себе и уселся, обхватив колени руками.

Под плотами всплескивала вода. Тянуло весенней сыростью. Доносились негромкие голоса кержаков.

Косте не хотелось показаться на плоту без приглашения, — ждал, пока найдут. Просидел, не меняя положения, добрый час, может и больше. Наконец, кто-то откинул дерюгу. Карп Матвеевич сначала подвинул глубже чувал, потом сказал:

— Ну, парень, не звал тебя, но и не гоню. Коли встретим кого, говори — едем в Колпашево на лесопилку. А теперь возьми у Анисьи шест, стань на тому углу. Отпихивай от берега и не зевай на поворотах.

Костя даже обрадовался такому наказу — надоело сидеть в шалаше. Проворно прошел на край плота, взял шест. Анисья сразу же принялась готовить завтрак. Перед шалашом стоял низкий ящик, наполненный песком. На нем она развела костер, повесила чугунок над огнем. Дым стелился понизу, и лайка, лежавшая у края плота, досадливо морщила нос.

На изгибах реки, действительно, зевать нельзя было. На одном крупном колене плот прижало течением

вплотную к берегу, к мохнатому пню, повернуло кормой наперед.

Карп Матвеич подошел на помощь Летчику. Еле отпихнули плот вдвоем.

— Ишь как присасывает, — беззлобно ворчал Карп Матвеич, — а дальше еще тяжелее будет. Как в Ньюргу въедем, так хлопот не оберешься, там быстрина неимоверная, и река — как червяк, то в одну, то в другую сторону подается.

Анисья живо справилась с завтраком. Ей же и первая миска. Молча поела горячего кулеша, потом взяла шест. Тогда двое мужчин уселись у чугунка. Лайка стояла, не отрывая своих глаз от дымящегося варева. Когда Костя положил ложку и удовлетворенно шлепнул себя по брюху, кержак кивнул:

— Мальчик, ступай сюда!

Лайка двинула хвостом, подошла к котлу. Карп Матвеич глядел на нее, как добрый отец смотрит на сына-малыша, который с аппетитом упитывается кашу.

— Нам бы Ньюргу только проскочить, — говорил он Косте, — Ньюрга — она беспокойная. А как выйдем на Обь, там, как по скатерти, плыви. Багор можно сушить поставить, а сам гуляй без заботы.

Но до Ньюрги было еще далеко. Только к вечеру стали к ней приближаться.

— Держись, парень, — еле успел сказать Карп Матвеич.

Вода подхватила плоты, понесла на какие-то кусты, черневшие на

обрывистом берегу. По обе стороны кружились каруселями воронки.

Двое мужчин и Анисья из всех сил работали шестью, отталкивая то один берег, то другой от плота. Несколько раз течение поворачивало его кормой наперед и снова возвращало в первоначальное положение. Умная лайка догадалась перейти от края на середину плота и только скулила при резких толчках. К счастью, Нюрга была короткой. Когда сумерки сгустились, плоты вышли на широкую и спокойную Обь. Карп Матвейч и Костя уложили шесты, налегли на обтесанную жердь, заменившую руль, направили плот на середину реки. Потом Матвейч достал из шалаша фонарь, зажег, обвязал его красной тряпкой и поставил на переднем краю плота. Будто продолжая подготовку, он выкатил ведерный боченок, вогнал в пробку деревянный кран. Что-то зашипело, запузырилось вокруг втулки.

— Попробуй-ка теперь настоящей медоухи.

— А разве вчера была не настоящая?

— Тоже. Только эта постарше будет.

Перед Костей появилась знакомая кружка, наполненная желтой пенистой жидкостью. От нее жгло в горле и приятно стрекало в носу. После первой кружки по всему телу пошла горячая волна.

— Ну, как?

— Хорошая, — улыбнулся Костя.

Кержак налил еще кружку. Котов опрокинул ее единым духом и почувствовал радость, похожую на ту, какую он испытывал, принимая получку, зажимая в ладони хрустящие бумажки.

— Ты, парень, не торопись. Со смаком пей, — наставительно сказал Карп Матвейч.

Сам же он тянул медоуху медленно по хозяйственному, после каждого глотка обсасывая усы. Косте надоело ждать. Он уже два раза повернул в воздухе кружку вверх дном. Но кержак делал вид, что не замечает его движений. Довив свою кружку, он переставил боченок в угол шалаша.

— Карп Матвейч, еще одну, — умоляюще сказал Костя.

Кержак отрицательно покачал головой:

— Теперечка поговорим. Ты, видно, бывалый, не зря Летчиком зовут. Всюду летал, знать, много земли видел. Скажи: сколько будет от Нижней Оби до Москвы?

Деловито, что-то прикидывая в мыслях, он расспрашивал — можно ли сбить в Москве пихтовое масло и кедровый орех, как доставить товар в столицу, почему можно продать и как лучше — оптом или меркой? От масла и орехов он перешел к беличьим и собачьим шкурам: можно ли сдать в магазин, по какой цене?

Костя плел всё, что приходило на язык, а сам поглядывал в угол, где стоял боченок.

Выпитая медоуха видно заиграла в голове Матвейча. Он стал словоохотлив и откровенен:

— Дело ведь — нешуточное! К новой жизни плывем, и надо ее как-то сколачивать, эту новую жизнь. То, что за плечами осталось, будь оно трижды проклято! Пусть сгинет оно, как нечистый дух.

Кержак оглянулся назад и, будто заклиная, поднял руку в густую тьму, висевшую над костром. Потом длинно рассказывал историю одного колхозника, которого за веселый нрав, за беззлобие называли Симпатягой.

— Человек он был никчемного роста, слабосильный, в чем душа держалась — догадаться невозможно. А ноги выросли безмерные, по его ступне ни сапога, ни валенка не найдешь. За свои ноги и пострадал человек. Единожды зашел в колхозную контору, когда там сидел представитель из области. Симпатяга подошел к начальнику, да и спел:

До колхоза — путь прямой,

Из колхоза — косяком.

Пришел я в колхоз обутый,

А в колхозе — босиком.

И еще прилепнул по земле ногой, что в тряпки завернута была. А через две недели — суд. Постановили — на пять лет в лагерь.

Костя слушал, скучая, пропуская

слова мимо ушей. Наконец, Карп Матвейч сжалился, налил ему еще. Опрокинув две кружки, почувствовал, что в его груди заиграл чудесный баян. Он закинул голову, сдвинул шапку и запел, глядя в низкое черное небо. Потом свалился на ворох корзин и рогож и запел. Всю ночь ему снился лохматый бурый медведь, протягивавший дружескую лапу и бормотавший какие-то очень знакомые слова. Наконец, медведь дотянулся лапой до его плеча, и Костя проснулся, чувствуя, что кто-то сильно трясет его. Карп Матвейч стоял, наклонившись над ним.

— Пробудись, парень. Уже давно Колпашево проехали. Будем к берегу прибавляться.

Костя сел. Шершавой ладонью стер с лица остатки сна. Во рту было неприятно сухо, жизнь казалась неинтересной и бессмысленной.

— Где ни слезай — до Колпашева или после Колпашева, — а лагеря не минуешь, — сказал он, наконец, не то в ответ на слова кержака, не то самому себе.

Серая река легко и плавно несла плоты на своей широкой спине. Кое-где появлялись одинокие последние льдины. Иногда они приближались к плотам, иногда отставали. Матвейч всматривался в низкий пустой берег и очевидно был им недоволен. Весь день плыли серединой реки, временами отталкивая глыбы рыхлого, посеревшего льда. Убедившись, что Котов во хмелю спокоен, кержак налил ему четыре кружки, одну за другой.

На следующее утро Костя поднялся с восходом солнца. Безделье и однообразные берега действовали угнетающе. Казалось, что можно плыть по этой реке месяцы и годы, и все будет оставаться таким же — серое небо, мутная вода, туманная полоса далекого леса.

Анисья, морщась от дыма, возилась у костра. Карп Матвейч чесал шею жеребенку, вполголоса урезонивая его:

— Не тычишь носом, стой смирно, пустая башка!

Потом, молча, все долго ели ячменную кашу. Обтирая усы, кержак не-

сколько минут смотрел вперед, куда шла река.

— Скоро будет остяжский сад. Такой остров, на котором люди по новому закону друг друга ели.

Котов поглядел в ту сторону и заметил в далекой туманной полосе что-то темное, словно шапка высывалась из воды.

Подробнее об остяжском саде Карп Матвейч рассказывал, спустя лишь несколько часов, когда на боченок были поставлены две кружки.

— Двенадцать сыновей было у этого остяка, и все — охотники. По всему лесу охотились, что по ту сторону Оби, весь зверь им принадлежал.

Матвейч говорил, попивая куриными глотками. В полутьме его лицо казалось широким и плоским.

— Как-то двое суток подряд гнался я за соболем. И соболю ушел. В ту пору и встретился я с остяком. Поглядел он, говорит — ружье у тебя доброе! А ружье у меня, вправду, было первый сорт — двухстволка центрального боя. Даю ему полюбоваться. Прищурил он глаз, посмотрел в один ствол, потом в другой. — «На», говорит. На том и разошлись. И вот с тех пор ни одного зверя тем ружьем я убить не мог. Бывает — раню, кровью зверь истекает, а все же из под рук уйдет.

К этому времени черное пятно приблизилось и увеличилось. И видно было, как что-то отделилось от него, словно муха поползла в сторону.

Мужчины потягивали кружку за кружкой. Анисья принялась жарить на костре мясо. А когда стали его есть, пятнышко, отделившееся от острова, превратилось в лодку, направлявшуюся к плотам.

Карп Матвейч медленно жевал и с опаской поглядывал на лодку. Уже видно было, как поднимаются и опускаются весла. Лайка наострила уши и глухо ворчала.

— В случае чего, — говорил Матвейч, — будем бить, что плывем с Игарки — ходили скот покупать.

Лодка приближалась. Теперь можно было разглядеть, что там — три пары весел. Кроме гребцов, в лодке

сидело еще двое — один на носу, другой у руля. Заложив руки за пояс, Карп Матвеич ходил по плоту. Потом вдруг зашел в шалаш и появился, держа в руках ружье.

Через несколько минут лодка клюнула носом плот. Гребцы уцепились за бревна. Двое с винтовками ловко соскочили.

— Руки вверх! — скомандовал один из них.

Зажав кусок мяса в ладони, Костя поднял руки. Карп Матвеич хотел что-то сказать, но не успел: приземистый парень с винтовкой кошкой прыгнул к нему, вырвал ружье и передал гребцам.

— Караул! — закричал Матвеич и попытался с растопыренными руками к шалашу.

Анисья в ужасе крестилась.

— Не кричи! — по хозяйски сказал тот, который был повыше ростом, — соблюдай порядок. Плоты мы направим на остров. Там командир опросит и поедешь дальше.

Этот же военный приказал всем сесть и не двигаться с места, а сам стал возле с винтовкой наперевес. Глядя на Анисью, Матвеич тоже стал креститься, но руки его дрожали. Приземистый парень тем временем привязал причал лодки к плоту. Гребцы налегли на весла, направляясь к острову. Опустив руки, Костя сразу же принялся жевать мясо, зажатое в ладони. На лице его не было ни капли тревоги. Он только с сожалением посмотрел на сковороду, где уже не осталось ни одного куска, и повернулся к Матвеичу.

— На заградилку волокут, — кивнул он и, не обращая внимания на часовой пояснил:

— Я про нее раньше еще слышал. Устроили на острове специальный пункт, чтобы перехватывать тех кержаков, что со своих гнезд от приятной жизни смываются.

Матвеич, видимо, тоже знал об этом учреждении и досадливо кусал ус.

Берег острова был пологий. Плоты влезли передним краем на песок.

— Доложи командиру. Да живо! — крикнул часовой.

Лодка отделилась от плотов. Стала

огибать остров. Карп Матвеич хотел было встать, но человек с винтовкой клацнул затвором:

— Сиди, пока не приказано!

Лайка поджав хвост, терлась у ног хозяина, будто чувствуя, что попали в плохой переплет, в котором она бессильна чем-либо помочь.

На берегу стоял небольшой сруб, окнами на Обь. Рядом строили что-то похожее на вышку. Два плотника, не торопясь, клевали топорами дерево. У них были землистые, угловатые лица. Откидываясь при взмахе топорами, они бросали взгляд на плоты, очевидно стараясь догадаться, что за люди пришли к берегу. Лодка простояла две минуты у какого-то строения и уже возвращалась.

— Зря не слез у Колпашева, зря, — думал Костя, хотя о дальнейшей своей судьбе никаких предположений не делал.

Лодка зашуршала дном по песку. Кроме гребцов в ней находился новый военный в щегольской шинели, в шапке-ушанке. Он ловко выпрыгнул из лодки и, не глядя на плоты, пошел вглубь. На один миг Косте Котову показалось его лицо знакомым — будто где-то видел однажды.

— Встать! — заорал другой часовой и дулом винтовки показал направление к той двери, куда вошел военный.

Шагнув через порог в избу, наполненную запахом смолы и свежего дерева, Костя оторопел: за столом важно сидел Колька Золотой, тот самый Колька, с которым его как-то захватили в поездке на неудачном «скоке»^{*)}. Из-под распахнутой шинели блестели на воротнике гимнастерки два кубика, у пояса висел наган. На лице Кольки не осталось ни одной паутинки от прошлого, — сидит, как прокурор верховного суда.

Развернул тетрадь, посмотрел, щурясь, на Матвеича:

— Откуда едете?

— От самой Игарки, — заторопился кержак.

— Куда?

— На Игарку.

^{*)} «Скок» на блатном жаргоне — кража.

- Сами откуда?
- С Игарки.
- Покажи паспорт!
- Дома оставил.

— Все — выдохнул строгий командир, поднялся, пошел на плот, осмотрел кержацкий скарб. Приостановился только у боченка. Сначала понюхал кран, потом налил подряд три кружки и выпил с тем же важным и строгим видом.

— Эй, ты, топорик, иди сюда, — небрежно крикнул он одному плотнику, согнувшемуся дугой и поворачивавшему голову по-волчьи, вместе с корпусом, — отнеси боченок на лодку.

Не выпрямляясь, плотник подошел, положил руку на сердце:

— Гражданин начальник, поясницу огнем жжет, не согнуться, не выпрямиться!

Колька Золотой отвернулся от него, крикнул второго плотника и пошел вслед за боченком. Сделав несколько шагов, он остановился:

— Этот останется помогать плотникам, — указал он на Костю, а остальные — в лодку.

Карп Матвеич, оглядываясь на плот, покорно сел между гребцами. Анисья пошла за мужем, путаясь в полах тулупа, вздымая мокрые глаза к серому, пустому небу. Командир вскочил последний, сел у руля, придерживая одной рукой боченок. Лодка с трудом сдвинулась и отошла. Оставшаяся собаченка, жалобно скуля, бестолково металась по берегу, потом побежала на плот и яростно накинулась на военного, который копался в кержацких пожитках.

Выполняя приказ, Костя подошел к плотникам:

— Свободный топор имеете?

Дугообразный плотник, не отвечая, минуту смотрел на Летчика и сказал глухим голосом, словно из пустой бочки:

— А ты — не кержак. Не похож на кержака.

— Почему?

— Одежа особая. Сиблаговская одежда. Бери, коли вон те бревна.

Работать Косте не хотелось. Он подкатил к вышке два бревна и присел на перекладину, оглядывая скучный, пустой берег. Неистовый лай собаченки привлек его внимание. Он видел, как военный, разозлившись, швырнул лайку в воду, как мокрая собака снова карабкалась на плот. Заметил, как солдат что-то выискал в шалаше, сошел на берег и усевшись на колоде, долго развязывал зубами какой-то узелок, потом вертел его, качал головой, наконец, подошел к Косте:

— Объясни, что за причина? Вроде грунт сухой или зола.

Котов узнал узелок, в котором Анисья завязала горсть родной земли и взяла с собой, отправляясь в неизвестный путь. Но ему не хотелось объяснять этому человеку, — пусть ломает себе голову:

— Секрет какой-то, — нехотя ответил он.

Военный еще раз перешутил со всех сторон узелок, потом с досадой бросил его в реку. Комочек шлепнулся у самой кромки берега. Костя видел, как набегавшими серыми волнами сначала разметало платок, потом уносило частями заветную горсть земли, и, наконец, волна слизала мокрую тряпицу.

* * *

Пока Котов сидел у бревен, покуривая и осматриваясь, скрюченный плотник несколько раз поглядывал на нового помощника.

— Скажи правду, с какой комендатуры сбежал?

Костя улыбнулся его догадливости.

— На Галке был, в Селивановке. А еще в Парбинской.

— Меня в Селивановке судили.

Но Летчика не интересовало, где и за что судили. Он замолчал, безразлично посмотрел на собеседника и увидел, что тот вдруг схватился за поясницу и скривился от боли.

— Давно болеешь?

— Недавно, да видно придется, — плотник показал пальцем куда-то в сторону.

Скосив глаза, Костя заметил неподалеку в прошлогодней траве череп.

— Здесь полно... — добавил сквозь кашель больной и продолжил, поясняя:

— Доктора-то в лагере нет. Один только санитар из блатных. А лечение такое: зазовет больных в барак, начертить мелом на полу круг и расставить всех по кругу. А сам возьмет палку и скамандует, чтоб по кругу бегать, и палкой — по спине, и куда попало. Уйти нельзя, потому что конвоир в дверях. Вот люди и бегают, как скотина в цирке. А санитар спрашивает: «легше стало?» Конечно, отвечают, «легше». Только раз на прием пришел один, тоже из блатных. Санитар его в барак, на круг хотел направить, а тот растегнул бушлат и показывает на финку за поясом: «тут, — говорит, — болит». Санитар сразу догадался и увольнение на всю неделю дал.

По реке уже стлались сумерки. Противоположный берег скрылся в дымке. Часовой упорно продолжал рыться в кержацкой рухляди, что-то бросал о плот, плевался, бормотал ругательства.

— Пора кончать, — пробубнил с вышки второй, молчаливый плотник, поглядев на ту сторону, где стоял пост.

Там от берега отделилась лодка, направлявшаяся к месту работы.

Когда она подходила, больной дернул Костю за рукав:

— Вот что, друг... В Селивановке жена моя. Может попадешь снова туда — передай ей это, — он сунул в руки Котова небольшую дощечку, исписанную карандашем, — имя и фамилия тут есть, не забудешь...

Всовывая в карман бушлата это деревянное письмо, Костя вздохнул от мысли, что ему навряд ли придется быть в Селивановке.

Лодка подошла к плоту. Прибывший в ней низкорослый солдат поспешно прыгнул:

— Ну, как? Ни лопатника, ни кожи?*) — спросил он у часового.

— При себе держит, кержацкая морда, — недовольно ответил тот.

Вместе с плотниками Котов направился к лодке, но приехавший солдат остановил его:

— По приказу командира тебя заprem в конторе. Потом командир придет и допросит.

Плотники сели в лодку, а Костю заперли в срубе. Через окно, переплетенное железными полосами, он видел, как лодка отчалила, и берег опустел.

Смотреть на унылую реку было не только скучно, но даже противно. Костя сел за стол, развернул тетрадь, на которой сверху было написано «Журнал первого поста», но все страницы были чистыми. Тогда он лег на пол, но сон не приходил, только бокам стало больно от нестроганных досок. Поднялся и стал ходить — четыре шага к окну, четыре от окна.

Вероятно это кружение продолжалось долго, потому что окно стало исчерна-синим. Собирался лечь снова, как услышал чьи-то шаги, кто-то отпирал замок.

С фонарем в руке в дверях появился Колька Золотой. Шинель его была застегнута, воротник поднят, наган висел сверху шинели.

Размашистыми шагами командир молча подошел к Косте, сорвал с его головы шапку и с силой бросил о пол. Потом минуту смотрел строгим, пронизывающим взглядом.

— Знаешь ли ты, рогатая голова, куда залетел?

Костю бросило в жар не то от страха, не то от радости. А Золотой продолжал орать:

— По закону тебя следует под землю упрятать! Чтоб дышать не мог! Жизнь тебе укоротить на заячий век!

И вдруг заговорил совершенно другим голосом:

— Черт его знает, что тронуло меня, как тебя увидел. Мне никого не

*) «Лопатником» называется бумажник, «кожей» — кошелек.

жаль, а так просто подумалось: дорога ему еще написана. Может, до луны доберется...

Теперь оба засмеялись. Золотой поднял и подал Косте шапку:

— Рассусоливать некогда, гайда в лодку! Садись на руль и держи к тому берегу.

Что задумал командир, Костя никак не мог догадаться.

Лодка пересекла реку, поплыли вдоль берега, где было слабое течение. Колька греб, как на гонках, с остервенением. Порой в темноте возникало что-то черное — деревья или кусты, но быстро расплывалось во мраке. Когда миновали устье какого-то притока, Золотой сбавил темп и спросил:

— Не догадываешься?

— А ничуть, — ответил Летчик.

— Вон там, под тобой — твой пропуск.

Костя заглянул под скамью и заметил сумку и когти, какими пользуются монтеры телеграфных и телефонных линий.

— До Колпашева пойдешь по столбам, никто не спросит. В сумке — две буханки хлеба и сушеная рыба — только сверху немного проволоки.

На кончике языка у Кости уже были слова: «ну, и сукин сын ты, Колька», но удержался — командирский вид Золотого связывал.

Поэтому только спросил:

— На какой же ты должности теперь?

— Начальник охраны, — солидно сказал Колька и после короткой паузы добавил, — пока две должности — комендант и начальник третьей части.

Что такое третья часть — Косте объяснять было незачем. Он очень хорошо знал, что так именуется специальная служба НКВД, которая следит за разговорами, за настроением заключенных. Именно эта часть могла в день выхода из лагеря добавить освобождающемуся еще пять или все десять лет заключения.

— Мне плотник говорил, будто в вашем лагере больных заставляют

по кругу бегать и палкой лупят, — сказал Котов, чтобы продолжить беседу.

Золотой усмехнулся:

— Наш лагерь — особенный...

Сделал несколько сильных ударов веслами и добавил:

— Если заниматься болезнями, то придется самому пилу брать и лес валить. Сам посуди — в лагере тыща человек, а больше половины — дохляки. Кому-ж работать?

Пожалуй, с той поры, как оставили остров, прошло не меньше двух часов. Сумрак совершенно затушевал берега. Колька все внимательней всматривался в мглу, хотя разглядеть что-либо было очень трудно. Наконец он сказал Косте:

— Правь к берегу! Тут недалеко линия.

Лодка уткнулась в ил. Костя подхватил когти и сумку, шопотом сказал Кольке:

— Как благодарить тебя?...

— Не звони*), — коротко ответил Золотой и налег всем корпусом на весло, чтобы оттолкнуться от берега.

Телеграфная линия оказалась, действительно, недалеко от реки. Однако, итти от столба к столбу в темноте было нелегко. Костя уселся у подножия столба, подумал еще о том, что жизнь — хоть и не ласковая, а все же порой улыбается, и задремал, убаюканный гудением проводов.

Проснулся он от холода. Тело коченело от предутреннего мороза. Правый край горизонта начинал краснеть. Виден был седой иней на земле и на бушлате. Костя зашагал под проволоками, стараясь согреться, жуя на ходу кусок хлеба.

К концу второго дня хлеб и рыба были съедены. А итти — неизвестно еще сколько. Глаз видит впереди только гребень столбов, опушку нескончаемого леса, серые пятна снега в ложбинах.

Четвертая ночь чуть не доконала Костю. От холода он дрожал до самого рассвета. Вдобавок мучил голод. «Хоть бы добраться до людей, какие бы они ни были».

*) Не болтай.

Тут же под сосной, где продрожал ночь, он оставил когти и сумку с проволокой. Пошел, спотыкаясь о кочки, уткнув подбородок в воротник бушлата. Но перед вечером он увидел Колпашево. К городу Костя подходил, еле передвигая ноги. Иногда отставившись, махал руками, что-то бормотал. Когда у первых домов ему несколько раз отказали в просьбе дать что-нибудь поесть, он шел уже без цели, куда вела улица. И не столько от бессонной ночи и голода, сколько от бесцельности казалось, что сил больше нет, еще десять, еще двадцать шагов — и он свалится.

Неожиданно для самого себя, Костя спросил у встречного:

— Где комендатура ссыльных?

Прохожий смерил его с ног до шапки:

— С далека?

— С другой командировки.

— Там, на берегу, — показал незнакомец на большое деревянное строение.

Около входа в дом худой беззубый старик колот дрова. У него Котов просто спросил, где находится карцерный конвой.

— Скоро придет, — прошамкал дед и ткнул пальцем на лежавшую колду.

Но Костя не садился, боясь, что потом трудно будет встать.

Через несколько минут подошел человек, тот самый, у которого он спрашивал о комендатуре.

— Нашел коменданта? — обратился он.

— Я к тебе, а не к коменданту.

— Говори, чего.

— Окажи милость, дай хлеба хоть на один зуб... И посади в карцер.

Карцерный ошупал Костю глазами так же, как при встрече:

— Видать, набегался ты хуже собаки. А хлеба дать не могу. За каждый грамм отвечаю. И в карцер без распоряжения не сажаю.

— А как же мне? — растерянно спросил Котов.

— Могу дорогу показать в «волчий клуб».

Качаясь, как смертельно пьяный, Летчик пошел по указанной дороге на окраину города. Между рекой и краем леса стояла кособокая изба, похожая на баню. К двери Костя еле добрался, потянул за ручку, но дверь не открылась, и он упал у порога.

Очнувшись, лежа на топчане, прикрытый остатками ватного одеяла. У окна две женщины вертелись около куска зеркала. В углу сидел молодой китаец и точил пилу.

В ушах Котова шумело, хотелось пить.

— Дайте воды! — с трудом выговорил он.

Одна из женщин подала кружку и вернулась к зеркалу.

— Что вы тут делаете? — спросил Костя после того, как промочил горло.

— С китайцами живем, — охотно ответила женщина.

В это время кто-то широко распахнул дверь. Широкоплечий мужчина с приплюснутым носом, не здороваясь, окинул избу взглядом и крикнул:

— Дунька, ставь самовар!

Заметив новичка, подошел к топчану и приподнял его за один конец.

— Говори, что дороже: голова или ноги?

Костя заметил, что у этого человека в глазах сверкает что-то озорное, неукротимое. Обратился к нему по свойски:

— Раньше поесть дай, а потом спрашивай.

— Сейчас угощу. Только скажи, какую картошку любишь — печеную, толченую, на птичьем молоке вареную или на слезах поджареную?

Он мигом сбросил с себя бушлат, высыпал из сумки картофель и поставил в печь.

Из разговоров Костя узнал, что озорного силача зовут Штопором. Кличка подходила к нему — все движения у этого человека были бы-

стры, вертки. Балагурия, он живо приготовил еду, подвинул миску Котову:

— Будем есть до отказа, к нашим животам черт жернова приделал — все перемелют.

Но есть долго не пришлось. Штопор как-то по охотничьи посмотрел в окно, вдруг быстро поднялся, подхватил свой бушлат.

— Эва, гости будут. Хочешь со мной, чтобы анкеты не заполнять?

Но Костя покачал головой, дуя на горячий картофель.

Штопор боком просунулся в дверь и, не захлопнув, исчез.

Несколько минут в избе было тихо, только повизгивала пила в руках китайца. Потом кто-то затопал, и в дверь вошло трое с винтовками.

— Один только? — спросили они китайца, показав на Костю.

Китаец мотнул головой.

— Ну, хватит лежать, пойдем, — тронул один Котова за плечо.

Направились к реке и дальше пошли тропинкой вдоль берега.

Когда подходили к городу, старший приказал остановиться. Сказал одному конвоиру:

— Ты тут с парнем подожди малость, а мы в «хитрую палатку» зайдем. Там тоже гости должны быть.

Конвоир отошел на три шага, поглядывая на Костю так, словно ему оставили под присмотром не человека, а телка или лошадь.

Ноги у Котова дрожали, и он присел на камень, лежавший на самом берегу. Под ступни подкатывались обские волны, монотонно-шуршащие, серые, холодные. Костя смотрел на них пустыми, усталыми глазами, ни о чем не думая, ни на что уже не надеясь. На один миг вспомнилось только, как этими же волнами на острове была размыта Анискина заветная горсть родной земли.

..... *

Профессор истории

[Отрывок из романа „Корабли Старого Города“]

Дикие, суматошные дни. Повсюду стояли чемоданы, пахло кожей и как будто уже — за границей. Но разлука все еще казалась немыслимой и ненужной. Каждый день Лада забегала за чемнибудь к Джан, или та шла к ней.

Знакомые каштаны шелестели последними листьями, роняли лакированные блестящие орехи — как всегда. Как же так — а домика под каштанами не будет больше?

Полковник встретил однажды Джан у самых ворот.

— Вот хорошо, что пришли. Как раз говорил о вас с профессором.

Джан удивленно подняла брови, но дядя Кир вел ее уже к калитке сада, отгороженного от общего двора. Ах, это старик профессор — историк, и его розы...

Джан не была еще здесь, и теперь вспомнила английскую книгу о девочке, попавшей в таинственный запущенный сад. Штамбовые розы были окутаны соломой, и около деревца стоял, чуть наклонив вбок седую бороду, в меховой шапке с наушниками, и в валенках, профессор.

— Почему вы раньше не пришли ко мне? — строго спросил он, вместо всяких приветствий. — Нехорошо заставлять старика ждать так долго. Еще немного, и я бы рассердился. А почему? Потому что вспомнил, что всегда срезал „Gloire de Digo“ для милой полковницы. И она же устроила мне тогда билет в театр на вашу легенду. В театр! Согласитесь, коллега, то-есть престите — молодой человек, что легенда в театре, это... это... это история вверх ногами.

Удивляюсь, как могло вам придти в голову такое безобразие. Кажется, я же и поставил вам кол на очередном зачете. Нет? Не вам? Ну комунибудь другому. Неважно. Кол за историю, заметьте, получить никогда не мешает. Не правда ли? Положа руку на сердце, согласитесь, что вы совершенно не знаете истории. Отвечайте.

— Нет, не знаю, — немного испуганно вырвалось у совершенно недоумевающей Джан. В чем дело? С ума он сошел, что ли?

Полковник пробурчал что-то о складе и быстро скрылся.

— Идемте, — схватил ее за руку профессор, — идемте ко мне в кабинет.

— Говорить и думать лучше всего в кабинете. Или, конечно, в саду. Удивительно, как много могут напомнить цветы. Вот именно когда я сажал этот куст — вы его не видите, конечно, сейчас, он в соломе, но вот тут пришла мне в голову эта замечательная мысль: закончить вашей легендой свою книгу. Что вы скажете? Пожалуйте сюда, здесь ступеньки. И не беспокойтесь о коврах: я никогда не снимаю валенок. То-есть иногда летом, но старики мерзнут, это в порядке вещей. Вы еще очень молоды, почти ребенок, и наверно курите, как вся молодежь. Курите, не стесняйтесь. Может быть, дым помогает вам думать и вспоминать тоже. Не так ли? Я предпочитаю розы. О чем я говорил? Да, о книге. Книга, видите ли, почти готова. Почти! Вот, видите, здесь машинки, одна милая студентка приходит мне переписывать, потому что я сразу пишу на всех трех

языках, и переписываю. По-русски, по-немецки и по-английски. Не хочу доверять переводчикам, и к чему, когда я сам сделаю все гораздо лучше. Хотел еще по французски, но французы — не историки. У них не хватает внушительности, медлительности, спокойствия. История это мрамор. Гранит. Или, что тоже никогда нельзя забывать — это песня. Вы не находите? Но у меня своя точка зрения, я ее объяснял уже не раз. Существует два рода истории. Одна — пылится на полках, и ею интересуются или в торжественных случаях, или только такие книжные черви, как, например, профессора. Очень, очень жаль. Люди безусловно происходят от обезьяны, потому что думают все вверх ногами. Вместо того, чтобы узнать, что такое жизнь, в самом начале, они преспокойно вступают в нее, нахальные невежды, повторяют каждый для себя, все ошибки тысячелетий, и потом, извольте радоваться, хватают себя за волосы именно когда этих волос на голове уже нет, или они настолько поседели, что о них нечего и говорить. I Wonder! Но, поскольку ваша борода еще не поседела — пардон, коллеги, дамы обычно не носят бороды, это тоже доказано историей. В общем, объяснения бесполезны. Я говорю о другом роде истории. О песне. О поэтическом творчестве. О той истории, которая продолжает жить всегда, наглядно, так сказать, даже для большинства... Она тем не менее, в загоне у первой, настоящей, книжной истории. Да, один-два анекдота, курьеза, легенды, кое-где, петитом, в виде примечания на весь толстый том. А том в тысячу страниц вы во-первых не прочтаете, а во-вторых, если даже прочтете, то забудете, но эти две строчки петитом запомните на всю жизнь. Ну скажите, что бы вы знали сейчас о Фридрихе Барбаросса, если бы не поэтическая легенда о его тысячелетнем сне в недрах гор? Вы схватили всю мысль? Разумеется. Да, я, профессор истории, имею смелость защищать свое собственное мнение. Легенда, вымысел, сказание, поэтическая фиориту-

ра, художественный арабеск так же важен, как факт. Не менее, если не более. Молчите, я знаю, что вы собираетесь возразить. История считается только с фактами. Бросьте. Устарелая пропись. История не считается ни с чем. Во-первых, — что такое факт? Событие, имеющее место во времени. Туманно, как млечный путь. Имеющее место во времени! Событие! Я, именно, пишу историю Риги. То-есть, я написал еще кое-что, но в узких специальных рамках. Не советую вам писать сочинений, годных только для того, чтобы получить степень гонорис-кауза Кембриджского университета. Впрочем я даже не помню сейчас, о чем читал там лекции. Я не патриот, но родившись в городе, являющемся историческим перекрестком Запада с Востоком, да притом еще в такой жемчужине, как Рига, было бы даже странно изучать историю другого города. У каждого из нас соль Балтийского моря как бы в крови, вы не находите? Так вот: я не особенно люблю ходить по улицам, особенно в последние годы. Почему? Потому что я слишком много вижу и это просто мешает ходить. Как будто попадаешь в какой-то вихрь беспрерывно опадающих осенних листьев, или кто нибудь крутит с дьявольской быстротой ручку этого мерзкого изобретения, апофеоза ярмарочной безвкусицы, апогея пошлости, синема. «Киношка» — заявил мне однажды студент, представьте. Ça-c'est vraiment. Киношка! Эрзац искусства. Да, так вот, если все вдруг крутится, летит, и останавливается вдруг, внезапно, на самом неожиданном месте. С поднятой ногой, скажем. Или когда у розы осыпаются лепестки и один из них повиснет в воздухе, плывет, почти останавливается. Вот факт, видите ли, что рыцарь фон Лорингховен проезжал у крепостной стены Риги. Бесспорный факт. Но когда я вижу, как он едет, шагом, и конь его спокойно переступает через стенки звенящего трамвая, то позвольте; трамвай, по вашему, тоже факт? Имеющий место во времени! Вот в том-то и загвоздка, коллеги. Пожалуйста, только не

вздумайте повторять избитых прописей: «камни говорят». Разумеется, они говорят, только их надо слышать! Слуха у меня нет. Слух — дело поэтов, потому что они ищут звук. Я вижу. Прежде всего, например, я вижу, какие у вас глаза. У вас настоящие глаза. Немножко запылились, но это ничего, вы еще черзчур молоды, потом прояснитесь. Но с такими глазами, как у вас, коллега, можно многое увидеть. Надо видеть. Иначе, разве вы могли бы — как это было у вас сказано? «Последние корабли.» Конечно я помню. Только суть, но остальное вы мне дадите. Перейдем к сути. Суть в книге. Параллели, истории и легенды. Историю, да простят мне боги, историю, ха-ха, я засунул, вот именно, в петит. В примечания. Но остальное — я собрал все. Да, на это ушли годы. Я ходил по старинным имениям и замкам, рылся в городских архивах, и прочел все книги, все, в подлинниках на всех девяти языках, которые я знаю, и остальное в переводах — все книги о Риге. Конечно, отбор необходим, многие легенды повторяются... Но ваша, заметьте, последняя. Она чересчур симптоматична. Вы конечно, считаете ее собственной фантазией. Или вы думаете, что Рига живет только в средневековьи? Прискорбное заблуждение. Нет, дорогой коллега, легенда о последних кораблях могла зародиться только здесь, у подножья этих башен, в тени этих парусов на пристани, под аккорды этого ветра, что сейчас стучится в окно. Поэтому я и считаю ее достойным концом, завершением моей книги. Понятно, надеюсь?

Профессор топал валенками по толстому ковру, взмахивал бородой и внезапно останавливаясь, гневно взглядывал на Джан, как будто обвиняя ее в скачках своих собственных слов и мыслей.

* * *

Джан машет с балкона рукой, чтобы не трезвонили больше, накидывает домашнее платье, и подвывая на ходу банг, бежит вниз. Дорожка к калитке еще сырая от росы, ши-

рокий подол задевает на ходу за цветы и приятно холодит ноги в туфельках.

Но за калиткой никого нет. Что за безобразие?

И только сейчас замечает Екатерину Андреевну. Та стоит у каменной стены, опершись спиной. Седые волосы, заколотые гребешками вверх по-старинке, кое-где вздыбились и кажутся намокшими.

— Екатерина Андреевна! Бабушка? Что с вами? Господи...

Джан хочет обнять ее, оторвать от стены, но видит опухшие, покрасневшие глаза и у нее самой начинают стучать зубы — мелко-мелко.

— Екатерина Андреевна... идемте... да скажите же!

— Ннне могу... выдавливает та вдруг, сразу ухватившись за Джан, налегает на нее всем телом и прикикает, беззвучно бормоча что-то.

Джан с трудом втаскивает ее в сад и захлопывает за собой калитку.

— Петр Федорович? — спрашивает она, догадываясь уже. — А Лаврик?

Екатерина Андреевна овладевает собой и выпрямляется.

— Обоих, Джанушка, — говорит она просто. — Пришли и взяли. Лаврик сказал, что с нами живет — чтобы сюда не бросились. Никто, как Бог. Только как нашему Котофьюшке сказать — не знаю. Ты уж сама придумай...

* * *

— Джан, поедем со мной на взморье, — сказала Екатерина Андреевна, придя в мезонин. — Делать тебе все равно нечего, а после болезни подышать свежим воздухом полезно. Сидишь, закупорившись.

— Грибы собирать рано, клубники тоже еще нет, купаться в марте месяце не рекомендуется, — лениво тянула Джан, не поднимаясь с тахты.

— Одевайся и едем без разговоров, скоро идет поезд. На пляже и зимой красиво, ты ведь любишь снег. Знаешь, кого я хочу там навестить? Старика профессора. Его племянники давно уже... взяты, дом отобрали, а сам он перебрался на взморье и прислал мне недавно письмо. Про-



Алексей Явленский. Белокурая девушка

сил точно передать рецепт, как варят картошку и навестить его.

Джан вспомнила розы в саду, кабинет, и «факты, имеющие место во времени» и тихо рассмеялась.

— Написали?

— Про картошку? Конечно. Но сомневаюсь, чтобы у него получилось что-нибудь. Картошку варить — это не лекции читать. Поедем, покажем ему. Он один совсем, и мне повидать его хочется. Предчувствие, может быть. Поедем, Джан.

Очень тихие, совсем белые, в перекатах нечищенных сугробов, в косях углах синих, хрустящих, мартовских теней, взморские улицы. Море не рокошет по летнему, а шуршит стеклянno, и в ветре тоже эти острые, прозрачные иголки льдинок. Сосны обрывками бури зацепились за оранжевые стволы и от них пахнет замерзшей смолой. Важные толстые сосульки неровной занавеской висят подборками на воротах и крышах, веселая мартовская капель вспыхивает на солнце и разбивается в звонкой лужице, стеклянными зернами протачивая снег. Солнце гуляет по небу в легкой белой накидке и прихорашивается к весне. Синий месяц — сумасшедший март. У всех месяцев свой цвет есть, а вот март — действительно синий.

Профессор сам открывает дверь из крошечной передней, вглядывается, и сразу узнав, бодро топчет валенками, набрасываясь на гостей без всяких предисловий:

— Замечательно, и как раз во время. Вот именно вас мне и надо было. Думал и собрался написать. Екатерине Андреевне, даме, можно сказать, в самом интересном возрасте — ничего не стоит навестить меня, старика, а я, представьте, даже прихварывать стал за последнее время. И года мои не так уж велики, но вообще возраст тема скучная, ближе к сути, коллега. Да, вот это мой кабинет теперь, с буржуйкой, история повторяется, аксиома есть истина, не требующая доказательств. В восемнадцатом году в Петербурге я тоже топил буржуйку шкафами из красного дерева, но теперь березой и сос-

ной также. Пожалуйста, не раздевайтесь, хотя у меня очень тепло, но я сейчас же пойду и покажу вам... Вы курите, коллега? Тогда курите. Почему вас еще не арестовали? Ах да, я слышал... Но это просто замечательно. Если бы я знал ваш адрес, то послал бы вам телеграмму, и именно сегодня вы приезжаете сами. Да, совпадений не бывает, заметьте, совпадения такая же идиотская ерунда как и случайность. Просто одни законы нам удалось проследить, а другие, и притом главнейшие нет. Да, эта тема проходит красной нитью, лейтмотивом, в моей книге. Но я не могу больше молчать. Вы конечно уже догадались, дорогая Екатерина Андреевна, и вы, в особенности, молодой человек, я хотел сказать, коллега. Да, совершенно верно, вы угадали. Поздравьте. Собственно, я должен поздравить и вас. Конечно, как же иначе. По этому случаю, как только я вам покажу, мы вернемся в эту конуру, в которой раньше я не поместил бы и свою дворовую собаку, и устроим пиршество. Деньги у меня, собственно, есть, только я не всегда могу их найти. В какой-нибудь книге. Но если вам знаком рецепт, как сварить картошку, то это может быть главной пищей, и затем еще что-нибудь. Главное, конечно, книга. Моя книга. Труд всей моей жизни. Вся история Риги в легендах. Труд, увенчанный и законченный вашей легендой о кораблях, дорогой коллега. Поздравляю, поздравляю.

Вы кончили? — со вздохом отчаяния спросила Джан, и слегка отодвинув пачку книг уселась на старый диван у стены.

«Конура» профессора могла быть названа и конюшней, а походила на что угодно. Мешок с картошкой стоял рядом с книгами, но книги, конечно, были повсюду, составляя главную меблировку комнаты. Под ними виднелись три дивана. Посередине комнаты гудела раскаленная до красна буржуйка. На письменном столе, вытеснив сброшенный на пол грязный стакан, с прилипшим к нему кружком лимона лежала на ка-

ком-то невообразимо ярком платке тяжелая папка в кожаном переплете с застежками. Разумеется, это и была рукопись книги — все остальные бумаги ворохом вздыбились на машинку, отодвинутую вбок, к стене.

— Если бы у меня были розы, чтобы положить их на эту крышку, — дрогнувшим голосом прошептал профессор, поймав ее взгляд. — Да, я закончил. Последние страницы собственноручно переписаны, последняя точка поставлена, все зашнуровано, сложено, готово, и... погибло.

Он уселся перед столом, и не касаясь папки, провел вокруг нее по воздуху дрожащими пальцами...

— Почему же погибло, профессор, — ободряюще спросила Екатерина Андреевна.

— Ах, дорогие коллеги и слушатели! Потому что жемчужина Балтики дала трещину и раскалывается, медленно, но верно. Потому что мы присутствуем при начале конца... Мне свойственен, скажу прямо, дар проникновения в прошлое, «прошлое» — как вы вульгарно выражаетесь, ибо прошлое существует, разумеется, как факт, о чем я не раз уже говорил. Но дар предвидения, выражаясь не менее банально, никогда не занимал меня настолько, ибо, будучи человеком точной науки, я привык иметь дело только с точными законами, а законы будущего известны нам менее всего. Разумеется, я был уверен, что мне удастся закончить свой труд, и обратился в Академию Наук в Советском Союзе с просьбой взять на себя если не издание, хотя бы из моих собственных, отобранных у меня средств, но во всяком случае хранение моей рукописи в полной сохранности до иных лучших времен. Равно как и содействовать мне препроводить мои переводы на английском и шведском и немецком языках за границу, в академии и университеты, доктором гонорис-кауза коих я состою. И что же вы думаете, мне ответили? Чтобы я прислал рукопись, а они посмотрят — поскольку она отвечает требованиям диалектического материализма! Позвольте, однако, коллега. Мне не

свойственно, заметьте, тщеславие и самонадеянность. Но мне семьдесят восемь лет, и смею уверить, меня считают в Европе — одним из авторитетов. Мои ученики давно стали профессорами. У меня несколько десятков ученых трудов. У меня есть ордена, медали и почетные дипломы и прочая дребедень. И мне поздно переучиваться заново. Чему? Диалектическому материализму? Ну скажите, коллега, по совести: эта куцая философия для невежд и недоучек может казаться научным достижением товарищам, не спорю — но всякому овощу свое время, не так ли? Нельзя прививать к розе огурцы! Нет, это невозможно...

Он задумался над этим вопросом, не замечая, как Джан переглянулась с Екатериной Андреевной, и встав, быстро и бесшумно принялась за уборку комнаты.

— Невозможно! — воскликнул профессор, подумавшись до конца. — Нет, моя рукопись погибла. И это возмущает меня больше всего. Я согласен, пусть меня убьют, пошлют на рудники, куда угодно. Поскольку гибель Риги будет идти дальше, я кончил свое физическое существование в ней, метафизическое же, слава Богу, недоступно и отрицается этим пресловутым диаматом вообще. Вы заметьте, коллега, как это удобно и просто: все, что непонятно, не существует! Бытие, определяющее сознание, воистину! Но пусть, повторяю, я сам. С книгой моя жизнь закончена. Позвольте, для чего же я ее прожил? Для почетных дипломов и докторских степеней? Заметьте: я отдам все свои остальные труды за эту книгу. Да, я написал их, быть может, плохо. Кое-что новое, да, удалось осветить, разъяснить слегка. Некоторое пособие, облегчающее путь другим. Но все это, я сказал бы, цветочная пыльца. А роза... настоящий цветок, над которым я трудился двадцать с лишним лет, прививал, облагораживал, душу свою отдал для его аромата — Боже мой, Боже мой, книга моя, книга! Ведь они... они... на переработку ее... на переработку...!

Профессор рухнул головой на стол и беззвучно затрясся.

Джан закусила губы. Екатерина Андреевна, вытиравшая стакан, запуталась в полотенце, выронила его, и стакан жалобно зазвенел, тонко и пронзительно, как комар. Но профессор вскочил так же порывисто и бросился к вешалке.

— Идемте, идемте, коллеги. При солнце он наиболее эффектен. И, кроме того, мне чрезвычайно ценно ваше мнение. Насколько я помню, Екатерина Андреевна, в вашей семье была яхта. Из этого следует, что вы сведущи в мореходстве. А вы, дорогой коллега, то-есть, мадам? Впрочем, вы родственники, комментарии излишни. Да, разрешите мне помочь вам надеть шубу, я еще не настолько стар, чтобы не поухаживать при случае за прекрасными дамами, о нет. Как я уже заметил в начале лекции, шубы не следовало снимать...

Он довольно удачно попал в оба рукава собственной шубы, потряс воротник Екатерине Андреевне, как край пыльного мешка, и вытолкнул их обеих на улицу.

— Вот сюда, а потом так, — говорил профессор, сворачивая в боковую улицу, потом по тропинке в лес, и между дюнами... — Я хочу сказать, что кораблестроение в принципе мне понятно, но в некоторых деталях я допускаю погрешности... Сопротивление материалов, например. Ах, если бы дело шло о самой запутанной, потерянной, загадочной легенде, или хоть о штамбовых розах, например! Но лед не моя область. Главное — заметьте, мысль. В данном случае, как и всегда, полное торжество над материей. Я трудился два месяца над ним: почти каждый день. Но не хвастаясь, скажу, что великий чародей Гюго был прав в своих «Тружениках моря». Человек может победить сопротивление материалов. Желание и расчет. Все это у меня было и я победил. Такое глухое место. Да, не беспокойтесь, этот лед еще выдержит, не то, что таких эфирных дам, а... Так вот, коллега, тонкость расчета: за этими тороса-

ми у берега никому ничего не видно. Старый профессор отправляется на прогулку. Ежедневный моцион! К моей шапке с наушниками все давно привыкли, а топорик в руках оправдывается валежником на обратном пути. Тонкость расчета и ослепительная мысль!

Профессор, размахивая руками, перепрыгивал уже с одной льдины на другую. Впереди, загоразивая море, громоздились белые и зеленовато-голубые глыбы в примерзлых сахарных корочках снега. Вставить слово в каскад речи профессора не было никакой возможности, и Джан вопросительно посмотрела только на Екатерину Андреевну. Может быть он сошел с ума, и вообще с этой ледяной стены ничего не стоит свалиться в море... Но та, повидимому, уже поняла в чем дело, и в ее глазах сияла ласковая улыбка. Джан, успокоившись, вскарабкалась на стену вслед за ней.

— Корабль Тоски, — громко и отчетливо произнес профессор и умолк.

Да, это была сказка. Да, только Тоска могла создать такой корабль — и Джан, совершенно не ожидавшая увидеть ничего подобного — поперхнулась и почувствовала как сжалось горло и знакомый, странный холодок пробежал у корней волос.

Громадная глыба льда, призрачным кораблем стояла у крайнего тороса, обрывавшегося в море. Высеченная во льду перекладина спаяла ее с берегом, как узенькие сходни, и застывающие под ветром льдины плескались чуть-чуть. Что в этой глыбе было создано природой, и что топориком профессора, — сейчас уже с трудом поддавалось определению, да и незачем. Главное, конечно, мысль. Главное, конечно, то, что это был сказочный корабль, хрустальная ладь, стеклянная яхта. И корма, и нос — как будто даже фигурный — поднимались над морем. И обледенелые шесты, как мачты. И все это — прозрачное, и сверкающее, как глетчер.

Джан зажмурилась и глубоко вздохнула, но когда она снова от-

крыла глаза — корабль, серебряный корабль сверкал попрежнему.

— Последние корабли уходят из Старого Города, в море, уходят за счастьем, уходят с тоской, — монотонно скандируя, напевал профессор, и его глаза блестели тем же странным светом, как и у Екатерины Андреевны. — Последний корабль унесет мою книгу о Старом Городе, и с нею — все то, что он создал, все жизни, мечты, все улыбки.

Обратно возвращались поздно. Только профессор, снова семенящий, ошарашивающий скачками мысли старичок, забегал со всех сторон, размахивал руками и доказывал аудитории, что удача на море дело Провидения, а не моряка. Сейчас мартовские бури. Лыдина вот-вот оторвется от берега. Это огромная глыба льда, и она долго будет носиться в заливе... Ветер может угнать ее, особенно если натянуть парус, хоть простыню, куда угодно. Может быть и обратно, к берегу. Но — может быть — и к шведским берегам. Далеко ли семьдесят миль! И не надо до самого берега — только чтобы заметили шведские рыбаки. Конечно, товарищи патрулируют по всему побережью, могут и они заметить. Можно и замерзнуть тоже.

— Но главное — это Бог, заметьте, — закончил он, распахивая дверь в свою комнату. — А если Бог может спасти человека, спасти самым непостижимым, невероятным образом, то книгу, такую книгу — не даст же Он ей погибнуть? С чисто научной точки зрения, коллега, я крайне заинтересован этой проблемой, ибо диплом Кембриджского университета есть человеческое измышление, и как таковое, беспочвенно. Но я, ничтожная песчинка, тень от лица Его, покорный Его воле, не зарыл данного мне таланта в землю, а приумножил и собрал искры прошлого в пепле настоящего, и хочу их спасти. Их, не себя. Сам я хотел бы остаться и умереть на родной земле. Я отправляю свои последние корабли, и мне нечем больше жить. Да, ваши слова, дорогой коллега. Наши слова. И вот, я прошу на коленях: я

видел много чудес именно, в них я верю. И если я выполнил в своей жизни то, что было предназначено мне Создателем, то я получу и Божеский диплом. Не гонорис-кауза, а чуда Господня. Аминь.

* * *

Синие мартовские сумерки давно уже лежали прозрачной тенью на стеклах и мягкий свет вспыхнувшей лампы обессиливал внезапной усталостью и покоем.

— Дорогие коллеги, я вижу, что вы устали с дороги. Я категорически, да, вот именно, не пущу вас в город сегодня. Нет, мы отпразднуем сегодняшний вечер, завершение всех моих трудов. Есть много способов приготовления картошки, но мне неизвестен ни один из них кроме исторического: печь в золе от костра. Правда, в таком виде ее вероятно трудно отличить от других древесных пород, но иногда удается. А кроме того, имеются различные субстанции, и я постараюсь блеснуть, вот именно, да.

Но профессор был водворен у печки, которую он действительно умел топить, а ужин приготовили сами гости. Через час диваны освободились от книг, в кресла можно было сесть без опаски, половина стола светилась белым пятном скатерти. Джан порылась в кладовой и шкафу, поджарила картошку, нарезала ветчины и наконец сам профессор, лукаво улыбаясь, вытащил две таинственных пузатых бутылки.

— Драгоценный нектар! — воскликнул он, разливая вино. — Но сегодня и вечер исключительный:

Вино было наверно столетним. Джан давно уже не чувствовала такого нежащего и совершенно обесиливающего тепла. Дальнейший вечер расплылся в фантастической дремоте. Профессор сидел на полу у печки, огненные брызги вспыхивали голубой и оранжевой ярью молний, из углов кивали шлемами рыцари, и на щитах звенели, расцветая, розы. Джан жмурила и судорожно распяливала снова веки, стараясь не пропустить ни слова из всех этих чудесных, как огненные цветы,

историй, которые рассказывал старый гном, совавший пахучие травы в громадный камин. Но в трубу отчаянным воплем врвался ветер, стены замка тряслись и на пристани опрокидывались и разбивались в щепки тонущие корабли.

«Пусть Бог и мне явит чудо» — успела она еще подумать и с головой ушла в пушистую шубу, как в одеяло.

* * *

Ветер метался по солнечному небу, собирая раскиданные бурей облака. Солнце ярко било в окна, и Джан, проснувшись, не сразу даже сообразила в чем дело.

Комната казалась прибранной. На столе стояла чистая посуда, но печка потухла, и профессор, сидя на корточках, совал в нее лучинки и пыхтел, надувая щеки.

— Ну вот именно, теперь она снова разгорится, — весело заявил он, поднимаясь. — Заметьте, коллега, что курить натошак очень вредно, но вы, как дымоход, должны закурить, конечно. Вы категорически отказались вчера воспользоваться диваном и улеглись в кресле. Считаю, что моя шуба не дала вам замерзнуть. Надеюсь, что присутствие такой уважаемой всеми, хотя и молодой еще совсем дамы, как Екатерина Андреевна, не скомпрометирует вашей репутации, то-есть я хочу сказать, что даже во вчерашнем холодном ужине с драгоценным столетним вином, единственный букет которого я мог предложить прекрасным дамам, не было ничего предосудительного. Вы немного поспорили со мной относительно Шведских Ворот, но согласились, конечно, что именно около них, а не в Конvente Святого Духа стоял этот фонарь, а сейчас я вам докажу, что оба ошибаемся, да. Отвечайте, молодой человек. Где коллега, я хочу сказать, Екатерина Андреевна?

Джан вылезла из-под теплой бобровой шубы, виновато оглянулась кругом и не найдя зеркала, схватила свою сумку и выскочила в переднюю, а оттуда во двор. Вчера они

наливали там воду в ведро. Да, ведро стояло на месте. Джан поскуливая слегка от холода и ветра, оплеснула лицо водой, вытерлась носовым платком, причесалась тут же, на дворе.

— Я думаю, что Екатерина Андреевна пошла за свежими булками или еще за чемнибудь, — громко сказала она, входя в комнату, и оборвалась.

Профессор стоял бледный, с вытянутой рукой и широко раскрытыми глазами посреди комнаты. Рука дрожала, показывая на что-то, чего Джан сразу не могла разобрать. Она шагнула ближе к столу, коротко вскрикнула и уставилась на пустое место, как и профессор. Кожаной папки с рукописью драгоценной книги не было. Вместо нее лежал какой-то начатый листок и поперек его ясным почерком Екатерины Андреевны шли слова: «Помилуй нас, Господи!»

Джан не помня себя, схватила с вешалки шубу и бросился к двери. Задыхаясь, шатаясь от порывистого налетавшего ветра, она бежала по улице, спотыкаясь в лесу, дальше, дальше, по вчерашней дороге. Ветер колот и резал лицо, острые мелкие льдинки больно впились в горло, в грудь. За нею, подскакивая и размахивая руками, крича что-то бежал профессор. На торосах Джан пошла тише, не было больше сил.

Но сегодня эта дорога стала другой. Ночью буря рвала и выхватывала кусками замерзлый берег. Вместо стены плавали и трещали глыбы, отдельные льдины ныряли и раскачивались в проколотой ледяными иглами воде.

Вода хлюпнула под носком Джан и та остановилась. Профессор доказался до нее и тоже стал рядом. Там, на севере, у самого горизонта...

Парус на ледяном корабле. Темная точка под парусом.

Или кажется так.

Джан медленно подняла руку и перекрестилась.

— Помилуй нас, Господи, — прошептала она —, последние корабли!

Тринадцатая ночь*)

... Конвоир отворил дверь, пропустил меня первым и доложил:

— По вашему приказанию подсудимый доставлен.

Председатель трибунала на один миг поднял голову, указал мне на табурет, стоявший в двух метрах от стола и продолжал листать какие-то бумаги. Комната была жарко натоплена, в окна вливалось ослепительное солнце, усиленное искрящимися снежными сугробами. Широкий поток света заливал стол, покрытый куском кумача. Ярко блестя пружки и ремни на судьях, а на гимнастерке председателя горел красный эмалевый флажок депутата Верховного Совета. Вспомнилось, что этот значек я видел у него только в первые дни прибытия в нашу дивизию, а позже, во время похода, стремительных отступлений и коротких передышек, он, почему то, прятал свой почетный значек. Мелькнула догадка, что он боялся попасть с такой уликой в плен.

Но случайный и путанный ход моих мыслей был прерван.

— Заседание военного трибунала продолжается, — заявил председатель.

Я встал. Одернул по привычке шинель. В эту минуту я еще ничего не боялся и смело глядел в глаза судей.

— На вчерашнем заседании вы полностью уличены, — строгим голосом произнес председатель.

Трибунал еще раз спрашивает: — признаете ли себя виновным?

— Нет.

— Имеете какие либо документы или свидетелей в свою защиту?

— Нет. Документов не могло быть, а о свидетелях я ничего не знаю — они пропали без вести.

— Заседание окончено. Трибунал предоставляет последнее слово обвиняемому.

Минуту я стоял молча. Решал — защищаться или нет. Конечно, защищаться! И я начал:

— Граждане судьи!

Они выпрямились, смотрели, словно по команде и, не меняя позы, слушали. Только секретарь продолжал строчить протокол.

— Граждане судьи! Мне больно и обидно знать, что сейчас будет вынесен приговор за преступление, в котором я неповинен и на которое неспособен. Всю свою жизнь я был одним из самых преданных граждан советской страны. Я был одним из тех участников строительства Туркестано-Сибирской магистрали, которые награждены орденом Красного Трудового Знамени. Эта награда была добыта в песках Туркестана, под немилосердным солнцем и в зимние бураны. Я был энтузиастом — культработником в профсоюзах. Позднее — сельским учителем, депутатом Совета, нес на своих плечах всю массово-разъяснительную работу. И, вероятно, справлялся с нею неплохо, это подтверждают те премии и благодарности, которые я получал от Совнаркома СССР. Сотни детей прошли через школу, где я преподавал, и всем им я ежедневно прививал любовь к социалистическому отечеству. Наконец, я сам,

*) Приведенный отрывок является главой из неопубликованной еще книги «Славное море».

с оружием в руках дважды защищал родину. Я пришел защищать ее и в третий раз с той же готовностью. И когда очутился во вражеском окружении, то сделал все, чтобы вернуться к вам.

Вы спрашиваете меня о свидетелях? — вот они.

Я стянул с ноги сапог и показал трибуналу кровавые мозоли, еще не зажившие за полтора месяца моего ареста. Свою речь я продолжал, стоя в одном сапоге, боясь потерять минуту на паузу. Я говорил о том, что я не изменник, что голодая, прячась днем в стогах соломы, я вышел из глубокого тыла противника и дошел же, дополз до своей части.

Я сказал трибуналу все, что мог сказать и закончил, надеясь, что мои слова должны хоть отчасти убедить судей.

Конвоир подошел ко мне. Я надел сапог и вышел с ним в коридор. Трибунал остался в комнате на последнее совещание перед вынесением приговора. Я подошел к окну, свернул папиросу. По коридору проходили мимо меня два штабиста. Спросили — как мое дело. Я только пожал плечами. Но втайне был уверен, что через несколько минут мне скажут, что я свободен... Такая уверенность укреплялась, вероятно, еще тем, что я видел за окном солнечный двор, свежее-протопанные дорожки, по которым ходили знакомые люди.

От нетерпения хотелось даже подойти к двери, постучать и спросить: скоро ли мне скажут желанное слово.

Но трибунал медлил. Дверь была закрыта и ни один звук оттуда не проникал в коридор. Не выдержав, я спросил секретаря, возвращавшегося в комнату заседания: — скоро ли? Он обещал узнать. И только через несколько бесконечных минут появился и сообщил, что уже можно войти.

Я подошел к своему месту, конвоир принял команду «смирно», все встали, в комнате воцарилась мертвая тишина. После такой короткой

гробовой паузы, председатель опустил брови и начал читать:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик Военный Трибунал действующей армии, в составе...

Он назвал звания и имена судей, перечислил ряд статей двух кодексов и многие пункты обвинения. Но все это я пропускал мимо ушей, не вникая в смысл наименований и номеров параграфов. Я ждал главного слова и — вот оно сказано:

— Трибунал приговорил (тут названо мое имя), подвергнуть высшей мере наказания — расстрелять с конфискацией всего имущества.

Сердце оборвалось. Я замер. Председатель же, убыстряя темп, читал дальше и у меня на самый короткий миг мелькнула ободряющая догадка о том, что расстрел будет заменен каким то другим наказанием. Но голос выровнялся и председатель резко произнес последнюю фразу:

— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

С того момента прошло тринадцать дней и двенадцать ночей. Когда начало смеркаться в тринадцатый раз, у меня, неизвестно почему, с непоборимой силой укрепилась мысль, что эта ночь будет последней. Правда, во все предыдущие дни и ночи из моего сознания ни на минуту не уходило ожидание смерти, но в тринадцатый вечер оно стало еще острее, еще беспощаднее.

Память, как будто издеваясь, восстановила в сотый, в тысячный раз все подробности суда, все последующие картины, слова, движения. Будто кто-то без устали все время развортывал перед моими глазами одну и ту же кинематографическую пленку, на которой были показаны малейшие детали.

Я помню, как после прочтения приговора, я несколько секунд продолжал стоять, ничего не соображая, а затем мгновенно появилась мысль: бежать. Быстро поворачиваюсь, хватаю со стола шапку, но около меня неожиданно вырастают два конвоира. Я не заметил когда они подошли, очевидно, им еще ранее была дана

инструкция. Они, взяв меня под руки, вывели в коридор, повели к выходу, по лестнице вниз. У двери стояло несколько человек штабистов, смотревших в мою сторону. Помню, как один из них вопросительным кивком спросил о результате суда. Нагнув немного голову и слегка освободив правую руку, я указательным пальцем показал — расстрел, хотя имел полную возможность сказать это слово громко или даже крикнуть «прощайте товарищи»: ведь мне уже не грозило никакое наказание.

Потом меня привели в ту же камеру, где я был до суда. Камера зашевелилась. Каждый из арестантов обращался с одним и тем же вопросом: — Ну, как? И никто из них не верил моему ответу. Они также, как и я сам, были твердо убеждены в моем оправдании. «Неправда, не обманывай! — говорили они. Я повторял ответ, но лицо мое светилось какой то ненормальной радостью. Я смеялся, как ребенок, обрадованный чем то занимательным. Да, расстрел, — в десятый раз говорил я и еще больше смеялся. Тогда они, видя, что от меня толком добиться ничего нельзя, спросили приведших меня конвоиров. Те подтвердили мои слова.

Я, тем временем, подошел к своему вещевому мешку. Вынул из него чистое белье и переоделся. Умирать, так в чистом!

Прошло лишь несколько минут, как в камеру пришел секретарь трибунала, имея в руках уже отпечатанный на машинке мой приговор. Он предложил мне расписаться в том, что решение суда мне объявлено. Расписываясь, я спросил — через сколько дней будет утвержден приговор.

— Ваша судьба уже решена и вам об этом думать нечего, — ответил он, холодно взглянув на меня.

От обеда я отказался. Молча сидел на полу, временами закрывая глаза, затягивался махорочным дымом, обдумывал план побега. Может быть мне удастся уговорить однокамерников организовать коллективный побег. А если нет, то, выбрав удобный

момент, наброситься на часового, вырвать у него винтовку и оглушить его, — думал я. Мои мысли мчались так стремительно, что я за несколько минут уже, как герой, побывал дома среди своих близких, попал за границу и успел вернуться оттуда к страшной действительности: вот я стою около свежей ямы — стреляют в затылок и я падаю вниз. А может быть, поставят лицом к строю солдат, — тогда одним залпом оборвут мою жизнь и я упаду навзничь.

Перед вечером в камеру вошли два конвоира и предложили мне собираться для следования в городскую тюрьму. У меня было все собрано. Я попрощался с товарищами и вышел из камеры.

Январское солнце было уже на закате. По улице быстро ходили военные, навстречу строем прошел взвод солдат. Мы направились к центру города. Шли по набережной. Тут мое внимание привлекла небольшая старая постройка, выделяющаяся от остальных. Замедлив шаг, я прочел на прибитой металлической доске: «кузница императора Петра I-го». Здесь строилась первая русская флотилия. Центр города был оживлен. Торопливо шагали с корзинами женщины, очевидно за покупками, всюду сновали военные. Город, отстоящий от государственной границы более чем на тысячу километров, стал прифронтовым. Я старался идти как можно медленнее, хотелось растянуть время, чтобы дышать свежим воздухом, находиться среди людской толпы. Главное — меня мучила мысль о побеге, хотя бежать было очень и очень трудно.

Мы миновали весь город и вышли снова на окраину, где стояла тюрьма. Подойдя к ней, конвоиры нажали кнопку звонка.

Это была тюремная церковь, приспособленная теперь под дежурное помещение. Дежурный сидел за письменным столом, на котором поблескивали телефонные аппараты. Около стола стояли двое в военной форме. Мои конвоиры, передав пакет, ушли.

Дежурный вслух прочел копию

моего приговора, достал чистые бланки и стал опрашивать меня. Вопросы были самые разнообразные, касающиеся не только меня, но и всех моих близких и дальних родственников. Заполнив анкету, дежурный предложил мне расписаться. Я готов был уже это сделать, как вдруг мысль остановила мою руку.

— Разрешите мне прочесть? — быстро сказал я.

— Читай! — разрешил он.

Торопливо пробежав по всем страницам, я удостоверился, что это была обычная анкета. Я только напомнил, что он забыл записать в графу «особые приметы» родимое пятно.

Дежурный сделал вид, что не слышит, поторопил меня расписаться и распорядился отвести меня. Кто то взял ключи и предложил мне идти. Мы перешли в другую комнату, где было еще десять дверей. Конвоир открыл одну из них и показал рукой — сюда!

Это была маленькая камера в один квадратный метр площадью. Там стояла низкая табуретка. Но вышина комнаты была необычная — до потолка почти четыре метра. Там высоко, над головой, горела электрическая лампочка. Мне стало жутко; вот тут то, наверно, и буду ждать смерть, — думал я. Мысли летели с молниеносной быстротой, последние мысли, последняя исповедь. — Господи! — шептал я, — неужели больше не увижу света.

Я сжимал ладонями виски. Вспоминал умершую мать, убитого в священной борьбе отца, своих близких. Но неожиданно мои мысли были прерваны; открылась дверь и я услышал: «выходи». Я вышел. Передо мной стоял человек в гражданской одежде. Он показал мне другую, на этот раз уже большую комнату. — Раздевайся! Я снял с себя все. Комната была совершенно не топлена и температура была такая же, как и на улице. Он осмотрел меня; в волосах, во рту, ушах, заставил присесть, а затем принялся осматривать мое белье. Ощупав все швы, подкладку и каждую складку,

он возвращал мою одежду, обрезав все пуговицы и крючки.

Дверь из дежурной комнаты открылась. Я услышал лязг затвора, очевидно вставляя патроны. Вышло два человека в военном. Один из них, лицо которого мне сразу бросилось в глаза, был похож на палача. Сурово, исподлобья посмотрев на меня, сказал: — пойдем! Мы вошли в узкий полутемный коридор, где было несколько дверей, — может быть одна из них ведет в подвал, где расстреливают. Но мы вышли во двор. Было уже темно. Пройдя метров пятнадцать, мы очутились у здания. Сопровождающий позвонил и мы вошли вовнутрь. — В восемнадцатую! — сказал сопровождающий.

В этой камере я встретил и памятную тринадцатую ночь. Ту ночь, которая должна была быть последней и в сущности была последней для той жизни, которую я вел раньше; для жизни, в которой были сплошные обманы и самообманы, когда на мир я смотрел слепыми глазами.

В эту камеру я пришел обреченным, с пронизавшей все мое сознание мыслью о том, что смерть стоит рядом со мной и никто не может задержать палец, который нажмет курок винтовки, направленной в мой затылок или лоб.

С таким чувством я зашел туда и остановился у двери. Передо мною, вдоль стены, сидело на полу четыре испуганных человека.

Я вступил в забываемую полосу своей жизни — ожидания смерти. Мысль о скором и неизбежном конце сменялась мыслью о жизни. И на ход этих мыслей влияло все — случайное слово, воспоминание, примета.

На рассвете следующего дня, при смене караула в комнату вошел огромный рыжий детина, который, пересчитав нас, сказал:

— Еще один добавил? Кто это?

Я ответил и назвал свое имя.

— Это ты новичек? Знаю, прочел твою бумагу. Ну, ты на помилование не надейся, твое дело конченное.

Он убил меня своими словами. Но

двумя часами позже, когда нас всех пятерых повели в тюремную парикмахерскую и когда я отказался от стрижки, говоря, что все равно скоро умирать, — широколиций добродушный парикмахер сказал:

— А ты не отчаивайся. Лучше сядь под машинку. У меня рука легкая — кого постригу, у того голова целой остается. И я сел под его легкую руку.

Ночами сквозь сон я часто вскрикивал, просыпался и не мог больше заснуть, мучался и молился неизвестно кому. Иногда я видел желанные сны, попадал в круг своих близких. Порой это внушало надежду, приносило успокоение. Но такие минуты были редко и чем дальше, тем реже они приходили. К тринадцатой ночи я растерял все остатки спокойствия, меня трясло, как в лихорадке, словно я каким то чувством предугадал необычность этих двенадцати часов.

Незадолго до ужина дежурный по тюрьме открыл дверное оконце нашей камеры и спросил: — Кто желает сегодня вечером разговаривать с военным прокурором?

Каждому хотелось узнать свою судьбу, выставить перед прокурором какие либо новые аргументы в свою защиту, просить ходатайствовать перед высшими инстанциями о помиловании. Мы подошли к окну и стали называть свои фамилии, которые он записывал. Закрыв окно, дежурный ушел.

Начались разговоры о предположениях: может быть сегодня ночью будут расстреливать, а, может быть, действительно прокурор будет делать очередной контроль по тюрьме и интересуется нами. Вскоре дежурный снова появился у нашей камеры.

— Кто еще не записался?

Мы молчали и смотрели друг на друга. Тогда он снова перечел всех нас по фамилиям, а я в это время заметил, что в списке было 14 человек с пометкой номеров камер. Действительно, в нашей камере остался один Петр, не пожелавший разговаривать с прокурором. Дежурный спросил его имя и сказал:

— На всякий случай запишу и тебя.

— Пиши, не пиши, а мне разговаривать с ним не о чем, — сказал Петр.

Почему так поздно, почему он записывает человека, отказавшегося разговаривать и почему у него переписаны все 15 смертников из трех камер? Каждый переживал по-своему, но у каждого вспыхнула искра надежды на помилование. Только Петр молчаливо продолжал лежать на полу, отвернувшись к стене.

Принесли ужин. Затем вновь начались разговоры о предстоящей встрече с прокурором. Петр, наконец, не выдержал и как то особенно проникновенно сказал: — Я чувствую, сегодня ночью будет расстрел! Никто не хотел в это верить, но разговор прекратился. После долгих молчаливых минут, мы стали располагаться ко сну.

— Когда придет прокурор, то разбудят, — подумали мы. Я и Петр не могли долго заснуть, ворочаясь с боку на бок. Наконец, меня одолел сон и я заснул. В эту ночь я видел много снов, но в памяти остался лишь один: я держу в руках белоснежную рубашку, полную вшей. Под впечатлением этого сна я проснулся и увидел только что вошедших в камеру трех человек в военном, обутых в валенки.

— Рябов! — сказал один из них. Рябов лежал рядом со мною и я его легонько толкнул локтем. — Я слышу! — сказал он мне, начиная вставать.

— Идемте к прокурору! — предложили ему.

Он стал медленно собираться, но его поторопили, сказав, что итти недалеко, что он скоро вернется. Успев одеть на босые ноги валенки и накинув на себя пиджак, он вместе с ними вышел из камеры. После этого мы сразу стали собираться, думая, что вот, может быть, следующим вызовут каждого из нас. Минуты через 3-4, они вошли снова и позвали Стрельцова. — Наверно прокурор сейчас разговаривает с Рябовым, а

Стрельцов будет ожидать, — рассуждали мы. В тюрьме, как всегда стояла мертвая тишина, только чуть-чуть слышны шаги дежурного по коридору.

Вот идут снова. Затаив дыхание слушали мы. — Очевидно, ведут Рябова и возьмут когонибудь другого, — мелькает в голове. Они прошли мимо нашей камеры и слышно, как открывают соседнюю дверь.

Да. Расстрел! — решили мы. Я лег на пол и забился, малярийной дрожью. Стучал зубами, руки и ноги тряслись, я чувствовал, что вместе со мною трясется пол. Взяли третьего. Чья же теперь очередь? — думаю я, продолжая еще больше трястись. Через такой, примерно, срок они возвращаются снова и открывают нашу камеру. Я смотрю на них испуганными глазами, стараясь скрыть от них свое волнение и услышал:

— Иванов, пойдем к прокурору!

Иванова уводят. «Мы остаемся вместе с Петром. Дрожь все учащается, не могу произнести ни одного слова. — Господи! До каких же пор они будут ходить? Вот... снова... Вероятно теперь вызовут, — мелькнуло в голове. — Нет, слышно, как открывают камеру напротив и уходят».

Взяли пять человек, скоро, наверно, придут за нами. Петр все время лежал на полу, отвернувшись лицом к стене и ни разу не повернулся в сторону пришедших.

— Петр! Спишь? — спросил я.

— Нет. Как тут уснешь!

— Это уже пятого взяли?

— Восьмого, а не пятого. Я не сплю и слышал, как до прихода к нам они увели троих.

Во дворе загудел мотор автомобиля, заскрипели тяжелые тюремные ворота, автомобиль выехал, ворота закрыли.

Почти так было раньше, в тот день, когда мне вручили приговор и когда я находился в камере предварительного заключения при особом отделе НКВД. Тогда тоже пришли трое с листом в руках. Они вызвали Михаила Лоташева, сидевшего в углу,

мало разговорчивого угрюмого парня.

— Собирайся с вещами, — сказали ему.

Помнится, как он бестолково слонялся по камере, собирая все то свое, что именовалось «вещами»: полотенце, грязный обмылок, рукавицы.

На него прикрикивали, торопили и, наконец, окружив его, вышли в коридор. Потом во дворе зарычал автомобиль. Сквозь крошечный углышек окна, где было отбито матовое стекло, мы видели, как Михаила провели через двор к машине. Автомобиль сразу же тронулся с места. И вот в этот момент произошло то, что осталось неизгладимо в памяти. Над задним бортом машины показалась голова Михаила, страшное лицо налившееся кровью. Глаза округлились, казались огромными. Он широко раскрыл рот, хотел что-то крикнуть, но чьи-то руки оттянули его назад и прижали ко дну машины. Через некоторое время автомобиль вернулся и при смене караула человек, уводивший Михаила, дежурил у дверей нашей камеры. Он сидел на табуретке, курил огромную папиросу — самокрутку. Я не выдержал и спросил его, — расстреляли ли Михаила?

Дежурный молчал, сопел и жадно втягивал в себя табачный дым. По всему его виду было ясно, что он принимал участие в расстреле Михаила. Я повторил вопрос в иной форме, спросил плакал ли Михаил перед смертью. И часовой не выдержал:

— Отстань, не спрашивай, мне и так свет не мил.

Вся эта сцена возникла теперь во всех своих подробностях и заставила сердце колотиться о грудную клетку.

Наконец, Петр поднялся и сел. Дрожь начинает спадать, но волнение еще не прекратилось. Мы заговорили о случившемся.

— Вечером нас было 15. Взяли восемь, осталось еще семь. Очевидно, «черный ворон» мог взять только половину, а за остальными придет еще раз.

Перестукиваемся с соседней камерой. Слышим ответ: — остался один. Как же так! Наш счет оказался неправильным. Ломаем себе голову, но установить ничего не можем. Дежурный по коридору поминутно смотрит в «волчок», наблюдая за нами.

Примерно через час автомобиль возвратился, сделал разворот по двору и замолк. — Сейчас придут снова, — думаем мы.

— Ложитесь спать! — открыв окно, строго сказал дежурный.

— Иди сам тут ложись, а я похожу по коридору! — со злобой ответил Петр.

Нам хотелось курить. Я подошел к окну и спросил у дежурного, который в этот раз не отказал, дав нам одну недокуренную папиросу.

Подействовала ли так папироса, или это был результат реакции, но вместе с затяжкой махорочного дыма приходило новое самочувствие. Его нельзя было назвать успокоением или возвращением присутствия духа. Я уже не дрожал, не бился в лихорадке. Правда, мысль о неизбежном конце не покидала меня, но отношение к ней было уже иное: безразличие и даже озлобление теперь охватывали меня. Ну и пусть! стреляют, пусть режут меня на куски, пусть распинают на кресте. Пусть! Я не буду просить о милости, не буду взывать к милосердию. Напрасно я думал раньше, что мои слова могут быть кем то услышаны, что мои оправдания могут быть оправданы. Я обращался в пустоту, в бездушные сердца, которые не понимают человеческого слова. Я для них чужой и они для меня такие же чужие.

Только по детской наивности, по своей непростительной слепоте, я мог думать о чем то связывающем нас. Вот они сейчас придут и скажут мне, как Рябову, как Стрельцову, как многим другим, что меня вызывает прокурор, уведут, посадят в машину и потом пустят пулю в затылок и конфискуют мое замечательное имущество: полотенце, мыло и смену белья.

Моя мысль шла еще дальше. А ес-

ли меня даже и не расстреляют и почему то, по какому либо непонятному случаю оставят в живых, то все равно мое чувство останется. Между нами стояла смерть и она навсегда разъединила нас.

Но их долго нет. Тюремная тишина звенит в ушах. Сколько времени прошло в этой напряженной тишине, я не знаю — может минуты, а может часы.

Наконец, слышим шаги по двору. Затаив дыхание прислушиваюсь. Загрело ведро. Нет... не к нам. Очевидно, идут рабочие на кухню. Чувствуется приближение утра. Мы с волнением продолжаем беседу:

— Значит вечером дежурный приходил для того, чтобы точно установить кто в какой камере сидит и по вызову не долго искать. Вот, ведь, оставшиеся вещи: шапка, шарф, перчатки, одеяло — должны бы быть у них, если они живы. А куда же мог ездить «черный ворон» ночью? Могла, очевидно, еще с вечера была готова, потому так скоро вернулся автомобиль. Конечно, они все расстреляны.

Нашу беседу перервал голос дежурного. — Подъем!

Мы перекрестились. — Слава, Тебе, Господи! Прожили еще одну кошмарную ночь. Может быть в следующую ночь кончится и наша жизнь, но сегодня мы еще будем жить. Как радостно видеть день, хотя и стоишь на краю моглы. Страшно болит голова. Слышно, как дежурный открывает одну камеру за другой.

Открывается и наша камера. Новый дежурный по тюрьме. Здороваются с нами, делает утреннюю проверку. «Двое» — отметил на ходу в своем листке.

Приносят завтрак: кипяток и хлеб. В этот раз уже не хотелось делить порцию хлеба на три части: на завтрак, обед и ужин. Мы съели все сразу. Молча сидим и неизвестно чего ждем. Говорить больше нам не о чем. Все переговорили за прожитые вместе тринадцать дней и ночей. Открывают нашу камеру. Мы испуганно насторожились. — В чем дело, что такое? — мелькает в голове.

Входит дежурный по тюрьме. — Собирайтесь в другую камеру! — приказывает он и переводит нас в соседнюю камеру, где из пяти человек остался один. Потом приводят еще одного. Мы знакомимся и устанавливаем: из трех камер в эту ночь взяли на расстрел одиннадцать человек и осталось пока что четверо. Как в нашей, так и в других двух камерах остались вещи расстрелянных. Мы смотрим на них. Сердце сжалось и по телу пробежала морозная дрожь. Я встал, окинул взглядом остальных, сказал:

— Вечная память погибшим! — Встали все. Мы стояли, опустив голову, отдавая последний долг погибшим товарищам.

— Если кто останется в живых, расскажите об этом, — закончил я.

Кто то слышно было, в этот момент открывал окно и мы быстро сели. Это был военный. Открыв окно, он хриплым голосом сказал: — Назовите свои фамилии.

Я назвал свое имя последним. — Собирайтесь с вещами! — сказал он по моему адресу и закрыл окно.

Зачем он меня вызывает? Может быть он подслушал наш разговор и хочет перед смертью поддержать в карцере, а, может быть, уже на расстрел?

Прощавшись с товарищами, я подошел к двери, обернулся назад, поднял руку и сказал: — Все равно. Прощайте, товарищи! Иду! — и постучал в дверь.

Дверь моментально открылась и я увидел ожидавшего меня военного.

— Пойдемте, — сказал он и пошел по коридору первым.

Вот подходим мы к камере одиннадцать, где устроен знаменитый карцер. Нет, он ведет дальше к лестнице. Мгновенно появляется мысль, может быть, мы спустимся вниз, а там уже стоит приготовленный «черный ворон» и меня постигнет участь расстрелянных товарищей ночью. Около лестницы он остановился, о

чем то подумал и сказал: — Пойдем сюда. Сделав еще несколько шагов вперед по коридору, мы подошли к камере, не имеющей номера. Он открыл дверь и пропустил меня первым. Это была камера, превращенная в следовательский кабинет, где стоял небольшой письменный стол и два стула. — Что же он хочет делать? — думаю я. Он подошел к столу, достал из кармана лист бумаги и сказал: — Получено определение от Военного Трибунала фронта. Приговор вам заменен.

Я бесконечно рад. И, чтобы он не заметил моей радости, я опустил голову вниз, поджал зубами нижнюю губу и радостно смеялся в душе. — Заменен чем? Значит, скоро я на свободе. Доберусь до фронта, а потом... Чем заменен? Читай скоро. Зачем нужны мне эти статьи, которые он читает. Когда же он кончит? — кружатся в голове мысли и никак не могу дождаться, когда он дочитает до того места, где сказано, что приговор заменен свободой.

И вот он дочитывает: — Военный Трибунал Фронта определил высшую меру наказания расстрел заменить десятью годами исправительно-трудовых работ с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях НКВД, с последующим поражением в правах, сроком на пять лет.

Ровно молотком кто то ударил по голове.

— Свобода! — со злобой подумал я, подняв голову, я в упор посмотрел на него.

— Если вы покажете образец героического труда, то можете рассчитывать на досрочное освобождение, — сказал он и дал мне карандаш расписаться.

— Я получил право бороться за жизнь, — подумал я и расписался. Затем мы вышли в коридор и он приказал дежурному открыть четырнадцатую камеру.

Тринадцатая ночь сменилась четырнадцатым днем, четырнадцатой камерой!

Ч а п а й

Приглушенный детский голос неожиданно раздался где-то совсем близко:

— Дяденька, где вы?

Андрей взял в руку пистолет, вылез из землянки и в десяти шагах от себя увидел двух мальчиков. От голода и свежего воздуха Андрея качало, от солнца и снега глаза слипались. Он оглянулся кругом и подошел к ним ближе: не подвох ли, на войне все может быть.

У ребят розовые от мороза совсем детские лица, но вид грозный — нахмуренные брови, плотно сжатые губы, строгий взгляд. На них шапки «чапаевки» из искусственного каракуля, точь в точь, как у Василия Чапаева в фильме, с таким же лихим заломом набекрень. Через плечо ремни, а за поясом пистолеты и гранаты.

— Вы, кто же такие? — обратился Андрей к стоящему впереди, показавшемуся более взрослым.

— Я — Чапай, — строго и внушительно ответил мальчуган — командир партизанского отряда. А это — мой помощник.

Андрей на секунду даже закрыл глаза, так живо вспомнилось детство, годы, когда он сам увлекался игрой в войну. И вот теперь здесь, далеко от родных мест, где то в Ржевских лесах увидел таких же, каким и сам был когда-то. Ребята держали себя не по детски, совершенно непринужденно.

Андрей поправил ремень, сделал усилие и уперся в пятку раненой и отмороженной ногой так, чтобы не зацепиться за кусты пальцами. На трех пальцах правой ногиросло дикое мясо, торчали кости и малейшее прикосновение к ним вызывало

нестерпимую боль. Через плечо висела парашютная сумка, она поддерживала ватные брюки, которые невозможно было снять из-за обмороженных ног.

— А что это за сапог у вас, дяденька?

— Брезентовый чехол от ручного пулемета, — объяснил Андрей.

— Так паршиво, небось, — заметил помощник Чапаева.

Был конец марта. В лесу аршинным пластом лежал снег. Дул сырой пронизывающий ветер.

— Пойдем, ребята, ко мне в нору, там поговорим. Может чем поможете, — произнес Андрей, поежившись от сырости.

— Нас мамка послала. Это она вчера была здесь, а сегодня нас послала. Пойдите, говорит, в лес и отдайте хлеб и спички.

Андрей кивнул головой, вспомнив вчерашнюю гостью. Тогда он ходил вокруг землянки около убитых товарищей. Заметив военного она стала приближаться медленно и настоятельно. На ней была заплатанная одежда и стоптанные сапоги. И когда она была в нескольких шагах, Андрей вдруг увидел в ней что-то знакомое, то, что было близким с давних туманных лет...

— Прости, мамаша, ты напомнила мне мою мать.

Она только кивнула головой, словно он сказал ей нечто всем известное.

— Давно узнала, про тебя, милоч, и все думала как бы принести хоть чегонибудь поесть. Да боязно было. В округе немцы, ой, как страшно боятся партизан. Строгостей написали уйму на заборах, расстрелом пугают. Слава Богу, что канавы от танков

всюду нарыты. По ним теперь наши ребятишки бегают украдкой. Глубооченные канавы, в них и Волга вместились.

— А далеко отсюда?

— Верста, не больше. — И она показала в ту сторону, где пять месяцев назад Андрей шел в атаку с остатками разбитой дивизии.

Потом она ушла, пообещав, что пришлет своих ребят. Андрей даже не заметил, как она скрылась в кустах. Он торопился развязать узелок, оставленный ею.

— Какое счастье! Хлеб!

Две недели назад, когда девушки из Ржева принесли ему еду, он взял соль на язык и не почувствовал ее вкуса — оказалось отвык от этой простой приправы.

Теперь радость захлестывала при виде соли и хлеба. Несколько раз он поглядывал на кусты с надеждой, что снова появится женщина, похожая на мать. Но она не появилась. Зато сегодня пришел ее сын — Чапай.

Войдя в землянку, мальчики сначала внимательно осмотрели ее. Особенно — Чапай. Он окинул взором все углы, словно там могла быть засада.

— Как в погребе — такие потемки, — произнес он.

— Может, посидите, ребята? Или времени мало?

— Свободного времени у нас не больно много, но посидеть можем. Для вас, как для раненого это полагается.

— Вот и ладно. Расскажите про команду свою. Ты-то, Чапай, как начальник, наверно все знаешь. Какие задания у вас?

Чапай пренебрежительно хмурился:

— Заданий много и все разные. Главное связь держать и за врагом следить...

— Вот как!

— Да уж так, — с задором сказал Чапай.

— И справляешься ты со своими заданиями?

— Успеваю.

И он, сдвинув шапку на затылок, с увлечением рассказывал о делах и

подвигах своей команды. Андрей прилег на солому, слушал, но мысли ушли от боевой романтики в другую совершенно противоположную сторону.

Как будто это было вчера, вспомнил начало весны, тающий снег, бегущие ручьи и себя в толпе детишек, делающих мельницы. Из домов все — от мала до велика — выходят на улицу и кто кирками, кто лопатами рубит лед. Лед отламывается длинными пластинами. На завалинках сидят кошки, собаки, детишки. А солнце стоит высоко, поливает землю теплыми лучами.

К концу апреля снег остается только в лесу и в лощинах. Появляется зелень, и тогда все село выгоняет овец на первую траву.

Когда наступает пора выгонять на пастбище рогатый скот, все село выходит на выгон и каждый хозяин несет туда хлеб и соль, кладет на разостланные по траве скатерти. Пастух в этот день — король. Ему все желают счастья. У пастуха есть подпасок, которому завидуют многие ребятишки. У подпаса в руках длинный кнут-погоняло, предмет зависти его сверстников. С мыслями о весне приходят воспоминания о Пасхе.

Еще за месяц до праздника строили круг на земле, диаметром в полтора метра и еще с зимы собирали яйца. Круг посыпали золой и глиной, утрамбовали. На Пасхе выносили туда железные желоба, ставили на круг, рассаживались вокруг ямы и по очереди катали яйца.

Зрелище было чудесное: зеленый луг, оживленные праздничные лица. Тут же стояли принесенные столы с мисками, полными пестрых пасхальных яиц.

И даже наступавший вечер не прекращал веселья. Играли на гармошке, плясали, ходили по деревне, взяв друг друга под руки.

Так витал он мечтами, навеянными Чапаем, хотя мальчуган повествовал о другом.

Настоящее Андрея Чубикова было суровым и страшным. Уже прошло четыре месяца с тех пор, как его

вместе с шестью другими сбросили на парашютах сюда, в тыл к немцам. Все шестеро были убиты и его жизнь тоже держалась на тончайшем волоске. Но это была жизнь зверя. Весь мир был отрезан. Время определял по солнцу, пробивавшемуся сквозь дымку мороза. Даже не умывался, а только смоченной тряпкой протирал глаза. Но зато долго расчесывал бороду, к которой никак не мог привыкнуть. Отмороженные руки и ноги не слушались. Не мог отрубить кусок мяса от лошадиной туши, лежащей у входа в землянку, и бросал в нее топор до тех пор, пока отваливался какой-то кусок. Почти два месяца не было спичек и он грыз мерзлое мясо сырым. Питался еще мерзлыми ягодами клюквы и брусники. Жизнь была настолько странной и чуждой, что Андрей принимал ее не за действительность, а за кошмарный сон, ожидая, что наступит момент, когда все это исчезнет и начнется настоящее. Но на эту настоящую жизнь уже не было надежды. С некоторых пор смерть поселилась с ним в землянке и Андрей привык к такому соседству. Еще день, может неделя и наступит неизбежное.

— Ты не унывай, дяденька, еще будет для тебя жизнь, — услышал

голос Чапая, будто угадавшего мысли.

— Наверяд, — тихо ответил Андрей, — видишь, как трудно.

— Это дело — пустяк, — совершенно по-взрослому сказал мальчуган, — все заживет. И руки заживут, и ноги отойдут, а жизнь будет обязательно чудесная.

Неизвестно почему, но этот мальчишеский лепет убеждал. Может быть больше чем слова убеждали родные картины, которые возникли при появлении Чапая.

Уже солнце садилось, когда ребята вышли из землянки. Над заиндеветыми соснами закат пылал, как зарево. Седой морозный туман стоял над землей. Чапай растаял в тех же кустах, в которых днем ранее скрылась его мать. Андрей вернулся в землянку, зажег костер и когда затрещала в огне береста и повеяло теплом, синие пальцы начали розоветь.

Андрей тогда решил:

— Он прав, Чапай. Жить надо во чтобы то ни стало. Ради будущего этих ребят, ради родного народа стоит пройти любой путь.

Утром Андрей оставил замлянку, слезавшуюся охапку соломы, пепел погасшего костра и пошел, опираясь на палку, медленным тяжелым шагом.

..... *



Алексей Явленский. Фантастическая голова

Конь вороной

Уже несколько дней как прошли бои. В степи бродят табуны безнадзорных коней. Бродят жители соседнего села Тарасовки. Зарывают трупы. Кое кто разувает, раздевает убитых, прячет одежду в мешок. На холме, широко раскинув руки, лежит под осенним солнцем чернявый, затянутый ремнями советский командир. На воротнике три кубика, на груди значек снайпера. Темно-синие бриджи, хромовые сапоги, кавалерийский клинок и пистолет. Следов ранения не видно, но человек мертв. Многие из местных мародеров пытаются обворовать труп, раздеть и разуть. Но когда они приближаются к нему, от табуна пасущихся коней, отделяется вороной жеребец, скалит зубы, бьет ногами — отгоняет мародеров. Ходит

вокруг трупа, ржет, будто зовет ушедшего хозяина. И снова медленно присоединяется к табуну, кося умным глазом. Иногда табун скрывается, несется вскачь к пруду на водопой. Только конь вороной задерживается, не смея оставить друга. Жалостливые женщины из Тарасовки, вытирая самовольную слезу, приносят воду, пару кочанов кукурузы. Женщин конь встречает миролюбиво. Снующие по дороге немецкие солдаты тоже несколько раз пытались снять с мертвого оружие, но удивленные необыкновенной привязанностью коня, ушли.

На исходе недели немецкий офицер застрелил вороного коня, снял с него седло, а с командира — оружие.

..... *

Б о м б а

Не плохо жил Панас Савельевич Гудзь. Очень даже не плохо. Дом его, что расположен вблизи пруда, почти в центре села Чутивка — был уважаемым домом. Уважали не только гостеприимного Панаса Савельевича, но и всю его семью — и приветливую хозяйку, и обеих дочек его — Галю и Дусю. Приятный и радужный хозяин, Панас Савельевич бывало проводил длинные осенние и зимние вечера в кругу семьи и многих своих друзей — односельчан. В избе чисто и уютно. Бойкая хозяй-

ка угощает чаем с вареньем. А в это время в соседней комнате веселилась молодежь. Играли в жмурки, гадали «любит — не любит», слаженными голосами пели давние песни или новые частушки, кружились в пляске. Всем было так тепло и уютно, что не хотелось покидать избу.

Но вот, с некоторых пор тревога и уныние вошли в этот дом. Не слышно там спокойной мирной речи, не звенят молодые голоса, угрюмый ходит Панас Савельевич. Чуть смеркнет, бегут из дому к подружкам Га-

ля и Дуся. Даже лучшие приятели Панаса Савельевича, поравнявшись с двором его, вдруг старательно переходят на другую сторону улицы. Увидав Панаса Савельевича, они, издали кланяясь ему, неизменно осведомляются:

— Ну, как. Лежит?

— Лежит, — понуро отвечает Панас Савельевич.

Даже бравые парни, провожая Галю и Дусю с вечеринки, не доходя до их дома, начинают раскланиваться и быстро исчезают за углом. В чем же дело? Что или кто лежит в доме Панаса Савельевича? Почему так осунулся и посерел сам Панас Савельевич? Может жена хворает чумой или холерой? Так нет же ее видят каждый день у колодца. Просто с некоторых пор Панас Савельевич живет на бомбе. Да, да настоящая фугасная! Как то ночью с самолета сбросили огромную бомбу. С неверо-

ятной силой она упала у порога избы, ушла глубоко в землю и не разорвалась. Всю ночь на смерть перепуганная семья не смыкала глаз, боясь взглянуть на дверь. Днем боязливо осмотрели воронку, перешли на жительство к соседям. Ходил Панас Савельевич к военным властям. Объяснил свою беду просил вызвать знающих людей, но пиротехника в маленьком гарнизоне не оказалось. Велели ждать. Так и ждет Панас Савельевич уже много месяцев. У соседей жить надоело. Постепенно снова перешли домой. По совету одного инвалида вылили в воронку два десятка ведер воды, огородили ее, чтобы не вперлась корова. И вот загрустил без людей Панас Савельевич. Стал угрюмым. Выйдет вечером за порог, посмотрит уныло на звезды, помочится в воронку, плюнет и пойдет опять в избу коротать длинную безрадостную ночь.

***** *

СТИХИ

Из стихов 1921 года

Георгий ИВАНОВ

1

Не обманывают только сны.
Сон всегда освобождение: мы
Тайно, безнадежно влюблены
В рай за стенами своей тюрьмы.
Миллионеру — снится нищета,
Оборванцу — золото рекой,
Мне — моя последняя мечта,
Неосуществимая — покой.

2

Все сиянье, все непостоянство,
Как осколок погибшей звезды —
Ты заброшена в наше пространство
Где тебе даже звезды чужды.
И летишь — в никуда, ниоткуда —
Обреченная вечно грустить,
Отрицать невозможное чудо
И бояться его пропустить.

3

Просил. Но никто не помог.
Хотел помолиться. Не мог.
Вернулся домой — ну, пора.
Не ждать же еще до утра!
И вспомнил несчастный дурак,
Пощупав — крепка ли петля,
С отчаяньем прыгая в мрак —
Не то, чем прекрасна земля.
А только какой-то кабак,
Лакея засаленный фрак,
Цыганское тра ля ля ля...

4

— Когданибудь, — когда устанешь ты,
Устанешь до последнего предела...
— Но я и так устал до тошноты,
Я изнемог!
— Тогда другое дело.
Тогда — спокойно, не спеша проверь
Все мысли, все дела, все ощущения
И, если перевесит отвращенье...
Завидую тебе: перед тобою дверь
Распахнута в восторг развоплощенья!

Николай БЕРНЕР (Божидар)

Поистине нелепа и странна в наше время судьба отдельного человека, а в особенности — человека творческого начала. Пять лет промаяться, неизвестно почему и зачем в австрийском лагере Зальцбурга, после мрачной и причудливо-страшной полосы.

Из советского заточенья — пройдя Соловки и ряд 'высылок, напечатав там свой фрагмент книги стихов (вся книга взята при аресте и уничтожена) — Осень мира.

В ней осмелился сказать громко:

Переживем — как нибудь и балаган недоучек,

Переживем палачей кисти, пера и резца.

и... после большого жизненного пути — ринувшись жадно на запад — очутиться в новом плену (дипском), быть прикрепленным к месту, желая притом работать, думать, писать, верить, бороться. ВОТ И ВСЕ!

Неповторимое всего дороже,
А слава переменчиво-глуха,
Да что я для нее — неузнанный
прохожий,
Влюбленный в дуновение стиха.

* * *

Еще бы вырваться на бурный воздух
И утонуть в заре, войдя в огромный
свет, —
Ужели только смерть — последний
отдых —?
Он страшен мне! Кричу: не надо, нет!

Я в звуках утону, и звуком станет
время,
Мир воплотится в небывалый звук.
Вчерашний день — осиленное бремя
В годах иступленных мук.

* * *

... Эпоха подобится взрытому бомбами
полю
И только молитва души безраздельно
тиха,
И только она охраняет с участием
огромным,
С живой теплотою все годы скитаний
моих,
Она высекает в годах и во тьме
вероломной
Огонь в очаге и завещанный предками
стих!
Рука затекает в работе и час до рассвета,
И в даль расширяется память в родные
снега,
И дверь раскрывается настежь —
не знаю кто это,
Когда-б угадать мне лицо...
его задыхала пурга!

Федор Подгорный

Мои думы о тебе, Россия.
Помню зимы, бездорожья сел,
В низких избах копать керосина,
Зеркала егорьевских озер.
Я любил тоску своей деревни,
И тоску ту слушал до зари,
Что играли на пшеничных жнивьях,
Как на флейтах, ветры-дудари.
Помню все — луга твои, метели...
И в слезах заботливую мать,
Что там стелит для меня постели,
С печки смотрит на мою кровать.
Если буду я за морем синим,
Я лицом к востоку повернусь:
Поклонюсь тебе, моя Россия,
На твой образ скорбный помолюсь.
Мои думы о тебе, Россия,
Помню все, как расставанья день,
Твои зори, копать керосина,
Бедность наших курских деревень.

Ирина Бушман

Поди, послушай у дверей,
Как рвется тишина ночная
Весенней песнею гусей —
Призывным криком серой стаи.
Несносен юг им в эти дни —
Закон их вечно одинаков:
От весен северных они
Благословенья ждут для браков;
Но все ж, покинув мусор гнезд,
Они опять помчатся к югу,
В сиянье августовских звезд,
Мороз предчувствуя и вьюгу.
Урок великий почерпни
Ты у крылатых пилигриммов,
Прими закон их, в наши дни
Действительный для всех гонимых —
Не доживи во-веки до
Привычки к милому болоту.
Душа, душа! ты вьешь гнездо,
Но будь готова к перелету!

Два сонета

ТВОРЧЕСТВО.

Отдай все мысли уличной рекламе,
Таксомотору брось кусок души,
Прищурясь возле сварщиков на пламя
Себя трамвайным шумом оглуши.
Пожертвуйся витринами безраздельно,
Ни времени, ни нервов не щадя,
Отдай себя вечерним площадям,
Очкам, газетам, сумочкам, портфелям.
Устав и вывернувшись наизнанку
Побудь на час для города приманкой.
А после, где-нибудь на перекрестке
Спохвятишься, случайно в ритм попав,
А город бьется у тебя в руках
Как бичевой охвачен рифмой хлесткой.

ОТТЕПЕЛЬ

Еще январь, но город уж разбужен,
Зима еще. На тротуарах лом,
А вот такси, разбрызгивая лужи,
Блестит в полете солнечным стеклом.
Ноздристый снег горит под теплым ветром,
С утра капель, а вечером мороз.
В английском парке холм Моноптерос
За эти сутки вылинял заметно.
И в парке — ты. Ты радуешься силе,
Ты веришь в жизнь и плащ тебе как крылья.
Ты сам — порыв, и оттепель, и ветер,
Тебе сейчас вселенная тесна,
И этот плащ, и ветер, и весна
Тебе сейчас милей всего на свете.

СЕКРЕТАРША.

За окном капли тараторят,
 С крыш на камень оттепель течет,
 Секретарша в транспортной конторе
 В десять пальцев отбивает счет.
 Полный список годовых издержек,
 Лента, вал, копирки. За окном
 Бурный снег машинами изъезжен,
 Смотрит небо солнечным пятном.
 Небо в раме. Солнце. Деньги в банке,
 Грач играет. Снег течет с дворов,
 Четкий шрифт на белоснежном бланке:
 «Потрудитесь деньги выслать в срок»
 Картотека. Адресат отыскан,
 Бланки, бланки, фирмы, имена,
 И дрожат на телефонном диске
 Солнечные пятна от окна.
 Счет написан, радостная точка,
 Чувство облегченья на душе,
 И — о, радость! Бандероль на почту
 Отнести с улыбкой просит шеф.
 Без пальто, на каблуках по грязи,
 Шпильки по дороге растеряв,
 Пробежать бегом — не счастье, разве
 После душных двух часов подряд.
 После снова два часа машинки:
 «Потрудитесь выслать полный счет»
 А за рамой в перебивку шибко
 С крыш на камень оттепель течет.

Сквозь усталость после службы надо
 Хоть умри — обычай здесь таков
 Сочинить костюм для маскарада
 Из найденных дома лоскутков.

К. ПОМЕРАНЦЕВ

* * *

* * *

«Душа встрепенулась тревожно,
 Как будто в эфиръ скользят...»
 Так дальше писать невозможно,
 Так чувствовать даже нельзя.
 Как будто все неизменимо,
 И не было в сумерках дней,
 Ни атомных снов Хиросимы,
 Ни зарева концлагерей.

Все как прежде: зеленеют ели,
 По дороге стелется туман,
 Я гляжу из своего отеля,
 Как ложатся тени на Монблан.
 Все как прежде: мы с тобою снова
 В свете догорающего дня, —
 Я и Ты — стареющий и новый
 Божий мир во мне и вне меня.

МРАМОР БЕЛЫЙ

Словно каменные плиты
Нелюдимый век...
Вот он, в плитах позабытый,
Камень временем отмытый,
Бел как горный снег.
Над плитой онемело
Не молчи, секи!...
Это мрамор, — мрамор белый,
Ледянистый, омертвельный,
Ждет давно руки.
Мыщц волокна, жилы-струны,
Пусть поют в бою,
Как игривые Перуны
В золотые молний струны,
Про игру свою.
Жги до пепла помертвельный
Над могилой креп...
Вот он мрамор, — мрамор белый,
Высекай, скрижалью целой:
Труд, Свобода, Хлеб.

МРАМОР ГОЛУБОЙ

Не ищи ты день вчерашний, —
Он теперь не твой.
Свежий ветер ералашный,
По оврагам день вчерашний,
Разметал золой.
Посмотри, как из под тени
Тянутся на свет
Под окном кусты сирени,
И жуки летят, — без лени...
Видишь или нет?
В искрах грома над потоком —
Ласточек игра,
Искроструйным водостокom,
На березе сладким соком
Брызжжется кора.
Не ищи, — утратишь Ныне
В поисках Вчера, —
Искрометным, словно иней,
На березе соком дивным
Истечет кора.

ГОЛОСА ПОГИБШИХ

Борис ПИЛЬНЯК

Красное дерево

... Поезд уходил из Москвы в ночь черную, как сажа. Лихорадка московских зарев и громов погибала и погибла очень быстро. Поля легли черной тишиной, и тишина вселилась в вагон. В двухместном купе мягкого вагона сидели двое — два брата Бездетовы, Павел Федорович и Степан Федорович — краснодеревщики реставраторы. Оба они имели вид непонятный, одеты были, как одевались купцы при Островском, в сюртуках, но в бекешах, — лица-ж у них, хоть и бритые, хранили ярославскую славянскость, — глаза у обоих были пусты и умны. Поезд улакивал время в черные пространства полей. В вагоне пахло дубленой кожей и коноплей. Павел Федорович достал из чемодана бутылку коньяку и серебрянный стаканчик, — налил выпил, — налил, молча передал брату. Брат выпил и вернул стаканчик. Павел Федорович убрал бутылку и стаканчик в чемодан.

— Бисер брать будем? — спросил Степан.

— Обязательно, — ответил Павел.

Прошло пол-часа в молчании. Поезд волочил время; останавливая его станциями. Павел достал бутылку и стакан, выпил, налил брату, убрал.

— Девушек угостим? Фарфор брать будем? — спросил Степан Федорович.

— Обязательно, — ответил Павел Федорович.

И еще через пол-часа молчания братья выпили по стаканчику.

— Так называемые русские гобелены брать будем? — спросил Степан.

— Обязательно, — ответил Павел.

В полночь поезд пришел к Волге,

к селу, славному по всей России кустарным сапожным производством. Кожей пахло все крепче и крепче. Павел налил по последнему стаканчику.

— Позднее Александра брать не будем? — спросил Степан.

— Невозможно, — ответил Павел Федорович.

На станции горами свалены были российские сапоги — не философия, но конкретное утверждение русских дорог. Кустарничество пахло дегтем. Мрак был густ, как деготь, которым пахнул. По станции бегали сапожники. Все кругом за станцией проваливалось в грязь.

... В тот час, когда антиквары сошли с парохода, над городом летали обалделые стаи галок и ныл город необыкновенным стоном стаскиваемых с колоколен колоколов. Собирался над городом покапать дождь.

Павел Федорович — молчаливо, — нанял тарантас к Скудрину мосту — к Якову Карповичу Скудрину. Извозчик затарахтел по целебным ромашкам мостовых старины, рассказал о колокольной городской новости объяснил, что у многих в городе произошло нервное расстройство из-за ожидания падения колоколов и грома падения, как бывает у неопытных стрелков, у которых жмурятся глаза из-за ожидания выстрела. Якова Карповича Бездетовы встретили на дворе, старик рубил сучья для печки. Мария Климовна выкидывала из коровника навоз. Яков Карпович не сразу узнал Бездетовых, — узнав, обрадовался, — заулыбался, закричал, засопел, — произнес:

— Ааа, покупатели!.. А я для вас теорию пролетарьята придумал.

... Все вошли в дом. Мария Климовна прошла к ухватам, у ее ног запел самовар. Катерина вышла к гостям барышней, сделала книксен. Старик скинул валенки, ходил вокруг гостей босиком, и голубком ворковал. Антиквары помылись с дороги и сели к столу рядом, молча. Глаза гостей были пусты как у мертвецов. Мария Климовна справлялась о здоровье и расставляла по столу кушанья семнадцатого века. Гости поставили на стол бутылку коньяку. Говорил за столом один Яков Карпович, хихикал и хмыкал, сообщал куда надо пойти за стариной, где он ее приметил для братьев Бездетовых.

Павел Федорович спрашивал:

— А вы так и будете крепиться?
— не продаете?

Старик заерзал и захихикал, плаксиво ответил:

— Да, да, мол. Не могу, нет, нет, не могу. Мое при мне, мне самому пригодиться, поживем — увидим, да, кхэ... Я вам лучше теорию... Я вас еще переживу!

После обеда гости легли спать, — притворили скрипучие двери, улеглись на перины и безмолвно пили коньяк из старинного серебра. К вечеру гости упились. Весь день Катерина пела духовные песнопения. Яков Карпович бродил около дверей к гостям, поджидая когда гости выйдут или заговорят, — чтобы зайти к ним побеседовать. День был унесен воронами, весь закат очень полошились вороны, разворовывая день. Сумерки развозились водовозными бочками. Глаза у гостей, когда они вышли к чаю, были совершенно мертвы, обалдело-немигающие. Гости сели к столу безмолвно и рядом. Яков Карпович примостился сзади них чтобы быть поближе к их ушам. Гости пили чай с блюдецек, подливая в чай коньяк, расстегнув свои сюртуки. Екатерининский торшер чадил около стола. Обеденный стол был круглый, красного дерева.

Яков Карпович говорил захлебываясь, спеша высказаться:

— А я вам мысль приготовил, кхэ

мысль... Теория Маркса о пролетарьяте скоро должна быть забыта, потому что сам пролетарьят должен исчезнуть, — вот, какая моя мысль!.. — а стало быть, и вся революция ни к чему, ошибка, кхэ, истории. В силу того, да что еще два-три поколения и пролетарьят исчезнет — в первую очередь в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии. Маркс написал свою теорию в эпоху расцвета мышечного труда. Теперь машинный труд заменяет мышцы. Вот какая моя мысль. Скоро около машин останутся одни инженеры, а пролетарьят исчезнет, пролетарьят превратиться в одних инженеров. Вот, кхэ, какая моя мысль. А инженер — не пролетарий, потому что чем человек культурней, тем меньше у него фанаберских потребностей и ему удобнее со всеми материально жить одинаково, уравнивать материальные блага, чтобы освободить мысль, да, — вон англичане, богатые и бедные, одинаково в пиджаках спят и в одинаковых домах живут, в трехэтажных, а у нас — бывало — сравните, сравните купца с мужиком, — купец, как поп, выражается и живет в хоромах. А я могу босиком ходить, и от этого хуже не стану. Вы скажете, кхэ, да, эксплуатация останется? — Да как она останется? — мужика, которого можно эксплуатировать, потому что он, как зверь, — его к машине не пустишь, он ее ломает, а она стоит миллионы. Машина дороже того стоит, чтобы при ней пятак с человека экономить, — человек должен машину знать, к машине знающий человек нужен — и вместо прежней сотни всего один. Человека такого будут холить. Пропадет пролетарьят? ..

Гости пили чай и слушали немигающими глазами. Яков Карпович хрюкал, харкал и торопился, — но развить мысли своей окончательно не успел: пришел Иван Карпович, брат, — охломон, переименовавший себя из Скудрина в Ожогова. Он аккуратно одетый в отчаянное тряпье, аккуратно подстриженный, в галошах на босу ногу, — он почтительно всем поклонился и сел в сторону, в молча-

нии. Поклону его никто не ответил. Лицо его было сумасшедшее. Яков Карпович заерзал и заволновался.

Мария Климовна сказала сокрушенно:

— И зачем только вы пришли, братец?

Охломон ответил:

— Посмотреть виды контрреволюции, сестрица

— Какая-ж тут контр-революция, братец?

— Что касается вас, сестрица, то вы контр-революция бытовая, — тихо и сумасшедше заговорил охломон Ожогов. — Но вы от меня плакали, — значит в вас есть зачатки коммунизма. Братец же Яков ни разу не плакал, и очень я раскаиваюсь, что не приставил я его в мое время к стенке, не расстрелял.

Мария Климовна вздохнула, покачала головой, молвила:

— Сынок-то твой как?

— Сынок мой, — ответил гордо охломон, — мой сынок кончает Вуз и меня не забывает, ходит в мое государство, когда бывает на каникулах. греется у печки, я ему революционные стихи сочиняю.

— А супруга?

— С ней я не встречаюсь. Она женотделом заведует. Знаете, сколько у нас рабочих приходится на двоих производственных рабочих?

— Нет.

— Семь человек. У семи нянек дитя без глазу. А гости ваши контр-революция историческая.

Гости пили чай оловянными глазами. Яков Карпович наливался лиловою злобой, стал походить на свеклу. Он пошел на брата, захихикал в вежливости, засучил руками, усердно тер их друг о друга, точно на морозе.

— Знаете, братец, — заговорил, засипел Яков Карпович, очень вежливо, — убирайтесь отсюда к чертовой матери. Я вас чистосердечно прошу!

— Извиняюсь, братец Яков, — я не к вам пришел, я пришел историческую контр-революцию посмо-

треть и с ней побеседовать, — ответил Иван.

— А я прошу — убирайтесь к чертовой матери!

— А я не пойду к ней!

Павел Федорович Бездетов медленно глянул оловом левого своего глаза на брата и сказал:

— Разговаривать с юрдами мы не можем, — не уйдешь, велю Степану тебя выгнать в шею.

Степан мигнул так же, как брат, и поправился на стуле. Мария Климовна подперла щеки и вздохнула. Охломон сидел молча. Степан Федорович нехотя встал из-за стола, пошел к охломону. Охломон трусливо приподнялся и пошел к двери. Мария Климовна еще раз вздохнула. Яков Карпович хихикал. Степан остановился посреди комнаты, — охломон остановился у двери, гримасничая, Степан шагнул к охломону, — охломон ушел за дверь. Из-за двери он сказал просительно:

— Дайте в таком случае рубль двадцать пять копеек на водку.

Степан глянул на Павла, Павел произнес:

— Отпусти на пол-бутылки.

Охломон ушел. Мария Климовна выходила за калитку проводить его, сунула ему кусок пирога. Ночь за калиткой была черной и неподвижной. Охломон Ожогов шел темными переулками к Волге, мимо монастырей, пустырями, ему одному известными тропками. Ночь была очень черна. Иван разговаривал сам с собой, бормоча невнятно. Он спустился к промкомбинатскому кирпичному заводу, там он пролез через заборную щель, пошел ямами карьеров. Среди ям горела обжигная печь. Иван полез под землю в печную яму, — там было очень тепло и очень душно, из щелей от заслонов шел красный свет. Здесь на земле валялись оборванцы, заросшие войлоком волос, коммунисты Ивана Ожогова, люди безмолвного договора с промкомбинатом: они бесплатно жгли печь кирпичного завода, ту, огнем которой обжигался кирпич, — и они бесплатно жили около печи, люди, остановив-

шие свое время эпохой военного коммунизма избрав председателем себе Ивана Ожогова. На соломе около доски, служившей столом, лежали трое, отдыхающие оборванцы. Ожогов присел рядом, подождал, как люди дрожат в ознобе, согреваясь, положил на стол деньги и кусок пирога.

— Не плакали? — спросил один из оборванцев.

— Нет не плакали — ответил Ожогов.

Помолчали.

— Тебе итти, товарищ Огнев, — сказал Ожогов.

Вползли в глину подземелья еще двое в войлоке бород и усов, в рваной нищете, прилегли, положили на доски деньги и хлеб. Человек лет сорока, — уже старик, — лежавший в самом темном тепле, Огнев, подполз к доске, сосчитал деньги, — полез из подземелья наверх. Остальные остались сидеть и лежать в безмолвии, — один из пришедших лишь молвил, что завтра с утра надо будет грузить баржу дровами. Огнев вернулся скоро с бутылками водки. Тогда охломоны придвинулись к доске, достали кружки, сели кружком. Товарищ Огнев разлил водку, чокнулись, безмолвно выпили.

— Теперь я буду говорить, — сказал Ожогов.

— Были такие братья Райты, они решили полететь в небо, и они погибли, разбившись о землю, упав с неба. Они погибли, но люди не оставили их дела, люди уцепились за небо, — и люди — летают, товарищи, они летают над землей, как птицы, как орлы! Товарищ Ленин погиб, как братья Райты, — был у нас в городе первым председателем исполкома. В двадцать первом году все кончилось. Настоящие коммунисты во всем городе — только мы, и вот нам осталось место только в подземельи. Я был здесь первым коммунистом, и я останусь им, пока я жив. Наши идеи не погибнут. Какие были идеи! — теперь уж никто не помнит этого, товарищи, кроме нас. Мы — как братья Райты!..

Товарищ Огнев налил по второму залпу водки. И Огнев перебил Ожогова.

— Теперь я скажу, председатель! какие были дела! как дрались! я командовал партизанским отрядом. Идем мы лесом, день идем, ночь, и еще ночь. И вот на рассвете слышим — пулеметы...

Огнева перебил Пожаров, — он спросил Огнева:

— А как ты рубишь? — ты как большой палец держишь при рубке, согнув или прямо? — ты покажи!

— Все на лезвие. Прямо, — ответил Огнев.

— Все на лезвие. Ты покажи. Вот, на ножик, покажи!

Огнев взял сапожный нож, которым охломоны резали хлеб, и показывал, как он кладет большой палец на лезвие.

— Неправильно ты рубаешь! крикнул Пожаров. — Я саблю при рубке держу не так, я режу, как бритвой. Дай покажу! — неправильно ты рубаешь!

— Товарищи! — молвил тихо Ожогов. и лицо его исказилось сумасшедшей болью, мы об идеях должны сегодня говорить, о великих идеях, а не о рубке!

Ожогова перебил четвертый, он крикнул:

— Товарищ Огнев! ты был в третьей дивизии, а я во второй, — помнишь, как вы прозевали переправу около деревни Шинки?..

— Мы прозевали? — нет, это вы прозевали, а не мы!..

— Товарищи! — опять тихо и сумасшедше молвил Ожогов, — мы об идеях должны говорить!..

К полночи люди в подземельи у печки спали, эти оборванцы, нашедшие себе право жить в подземельи у печи кирпичного завода. Они спали свалившись в кучу, голова одного на коленях другого, прикрывшись своими лохмотьями. Последним заснул их председатель Иван Ожогов, — он долго лежал около жерла печи, с листком бумаги. Он лежал на животе, положив бумагу на землю. Он мусолил карандаш, он хотел напи-

сать стихи. «Мы подняли мировую», написал он и зачеркнул. «Мы зажгли мировой», — написал он и зачеркнул. — «Вы, которые греете воровские руки», — написал он и зачеркнул. — «Вы — либо лакеи, иль идиоты», написал он и зачеркнул. Слова не шли к нему. Он заснул, опустив голову на исчерканный лист бумаги. Здесь спали коммунисты призыва военного коммунизма и отпуска тысяча девятьсот двадцать первого года, люди остановившихся идей, сумасшедшие и пьяницы, люди, которые у себя в подземельи и у себя в труде по разгрузке барж, по распилке дров создали строжайшее братство, строжайший коммунизм, не имея ничего своего, ни вещей, ни жен, — впрочем жены ушли от них, от их мечтаний, их сумасшествия и алкоголя. — В подземельи было очень душно, очень тепло, очень нище.

Полночь следовала над городом и черная, как история этих мест.

Наутро над городом умирали колокола и выли, разрываясь в клочья. Братья Бездетовы проснулись рано, но Мария Климовна встала еще раньше, и к чаю были горячие с грибами и с луком пирожки. Яков Карпович спал. Катерина была заспана. Чай пили молча. День настал сер и медленен. После чая братья Бездетовы пошли на работу. Павел Федорович поставил на бумажке реестрик домов и семей, куда надо было идти. Улицы лежали в безмолвии уездных мостовых, каменных заборов, бурьянов под заборами, бузины на развалинах пожарища, церквей, колоколен, — и глохли в безмолвии, когда начинали нить колокола, и орали безмолвием, когда колокола ревели, падая.

Бездетовы заходили в дом молчливо, рядом, и смотрели кругом слепыми глазами.

На старой Ростовской стоял дом, покривившийся на бок. В этом доме умерала вдова Мышкина, вдова — семидесятилетняя старуха. Дом стоял углом к улице, потому что он был построен до возникновения улицы — и дом этот был строен не из пилен-

ного леса, а из тесанного, потому что он возник во времена когда русские плотники пилы еще не употребляли, строя одним топором, — то есть, до времени Петра. По тогдашним временам дом был боярским. В доме от тех дней хранились — кафельная печь и кафельная лежанка, изразцы были разрисованы барашками и боярами, залиты охрой и глазурью.

Бездетовы зашли в калитку не постукавшись. Старушка Мышкина сидела на завалинке перед свиным корытом, свинья ела из корыта ошпаренную кипятком крапиву. Бездетовы поклонились старушке и молча сели около нее. Старушка ответила на поклон и растерянно, и радостно, и испуганно. Была она в рваных валенках, в ситцевой юбке, в персидской пестрой шали.

— Ну, как продаете? — спросил Павел Бездетов.

Старушка спрятала руки под шаль, опустила глаза в землю к свинье, — Павел и Степан Федорович глянули друг на друга, и Степан мигнул глазом — продаст. Костяною рукою с лиловыми ногтями старушка утерла уголки рта, и рука ее дрожала.

— Уж и не знаю, как быть, — сказала старушка и виновато глянула на братьев, — ведь деды наши и нам завещали, и прадеды, и даже времена теряются... А как помер мой жилец, царствие небесное, прямо не в моготу стало, — ведь он мне три рубля в месяц за комнату платил, керосин покупал, мне вполне хватало... А Царствие небесное, жилец был тихий, платил три рубля и помер на моих руках... Уж я думала, думала сколько ночей не спала, смутили вы мой покой.

Сказал Павел Федорович.

— Изразцов в печке и лежанке сто двадцать. Как уговаривались, по двадцать пять копеек изразец. Итого сразу вам тридцать рублей. Вам на всю жизнь хватит. Мы пришлем печника, он их вынет и поставит на их место кирпичи, и побелит. И все за наш счет.

— О цене я не говорю, — сказала старушка, — цену вы богатую даете.

Такой цены у нас никто не даст... Да и кому они, кроме меня нужны? — вот, если бы не родители... одинокая я...

Старушка задумалась. Думала она долго, — или ничего не думала? Глаза ее стали невидящими, провалились в глазницы. Свинья съела свою крапиву и тыкала пятачком в старухин валенок. Братья Бездетовы смотрели на старуху деловито и строго. Вновь старуха утерла уголки губ трясушей рукой. Тогда она улыбнулась виновато, виновато глянула по сторонам, по косым заборчикам двора и огорода, — виновато опустила глаза перед Бездетовыми.

— Ну, так и быть, давай вам Бог! — сказала старушка и протянула руку Павлу Федоровичу, неумело и смущенно, но так, как требует заправская торговая традиция — отдала изразцы из полы в полу.

На соборной площади в полуподвале бывшего собственного дома жила семья помещиков Тучковых. Прежняя их усадьба превратилась в молочный завод. Здесь в подвале жили двое взрослых и шестеро детей, — две женщины — старуха Тучкова и ее сноха, муж которой, бывший офицер, застрелился в 1925-ом году накануне смерти от туберкулеза. Старик полковник был убит в 1915-ом году на Карпатах. Четверо детей принадлежали Ольге Павловне, как взяли сноху, двое остальных принадлежали расстрелянному за контр-революцию младшему Тучкову. Ольга Павловна была кормилицей, играла по вечерам в кинематографе на рояле. И она, тридцатилетняя женщина, походила на старуху.

Подвал был отперт, как во всех нищих домах, когда туда пришли братья Бездетовы. Их встретила Ольга Павловна. Она закивала головой, приглашая войти, — она побежала вперед, в так называемую столовую, прикрыть кровать, чтобы посторонние не видели, что под одеялом нет постельного белья. Ольга Павловна глянулась в триптих зеркала на туалете александровско-ампирного-красного дерева. Братья были деловиты и действительны. Степан поднимал сту-

лья вверх ножками, отодвигал диван, поднимал матрас на кровати, выдвигал ящики в комод — рассматривал красное дерево. Павел перебирал миниатюры, бисер и фарфор. У молодой старухи Ольги Павловны осталась легкость девичьих движений и умение стыдиться. Реставраторы чинили в комнатах молчаливый разгром, вытаскивая из углов грязь и нищету. Шестеро детей лезли к юбке матери в любопытстве к необыкновенному, двое старших готовы были помогать в погроме. Мать стыдилась за детей, младшие хныкали у юбки, мешая матери стыдиться. Степан отставил в сторону три стула и кресло, и он сказал:

— Ассортимента нет, гарнитура.

— Что вы сказали? — переспросила Ольга Павловна, — и крикнула беспомощно на детей: — Дети, пожалуйста, уйдите отсюда! Вам здесь не место, прошу вас...

— Ассортимента нет, гарнитура, — сказал Степан Федорович. — Стульев три, а кресло одно. Вещи хорошие не спорю, но требуют большого ремонта. Сами видите — в сырости живете. А гарнитур надо собрать.

Дети притихли, когда заговорил реставратор.

— Да, — сказала Ольга Павловна и покраснела, — все это было, но едва ли можно собрать. Часть осталась в имении, когда мы уехали, часть разошлась по крестьянам, часть поломали дети, и — вот сырость, я отнесла в сарай...

— Поди, велели в двадцать четыре часа уйти? — спросил Степан Федорович.

— Да, мы ушли ночью, не ожидая приказа. Мы предвидели...

В разговор вступил Павел Федорович, он спросил Ольгу Павловну:

— Вы по французски и по английски понимаете?

— О, да, — ответила Ольга Павловна, — я говорю...

— Эти миниатюры будут — Бушэ и Госвей?

— О, да! эти миниатюры...

Павел Федорович сказал, глянув на брата:

— По четвертному за каждую можно дать.

Степан Федорович брата перебил строго:

— Если гарнитур мебели, хоть бы половинный, соберете, куплю у вас всю мебель. Если, говорите, имеется у мужиков, можно к ним съездить.

— О, да! — ответила Ольга Павловна. — Если половину гарнитура... До нашей деревни тринадцать верст, это почти прогулка... Я схожу сегодня в деревню и завтра дам ответ. Но — если некоторые вещи будут поломаны...

— Это не влияет, скинем цену. И не то, чтобы ответ, а прямо везите, чтобы завтра все можно у вас получить и упаковать. Диваны пятнадцать рублей, кресла семь с полтиной, стулья по пяти. Упаковка наша.

— О, да, я схожу сегодня, до на-

шей деревни только тринадцать верст, это почти прогулка... Я сейчас же пойду.

Сказал старший мальчик:

— Маман, и тогда вы купите мне башмаки?

За окнами был серый день, за городом лежали российские проселки.

К вечеру, когда галки разворовали день и перестали выть колокола, братья Бездетовы вернулись домой и обедали. После обеда Яков Карпович Скудрин снарядился в поход. В его карманах были бездетовские деньги и реестрик. Старик одел широкополую фетровую шляпу и овчинный полушубок, на ногах у него были опорки. Он шел к плотнику, к возчику, за веревками и рогожами, — распорядиться, упаковать купленное и отвезти на пароходную пристань для отправки в Москву.

***** *

Борис Пильняк

[Журнал «Красная Новь», июль-август 1922 г.]

В рассказе «Год их жизни» в лесу живут трое: охотник Демид, жена его Марина и медведь Макар. Живут в одном доме. Демид похож на медведя, медвежья сила, медвежьи ухватки, от него пахнет тайгой. «Они, человек и зверь, понимают друг друга». Такая же и Марина. Когда рожала она первого ребенка, медведь подошел к кровати и «особенно, понимая и строго смотрел добродушно-сумрачными своими глазами». У них — общая родина — глухая тайга, весны, зимы, росы, общая жизнь, крепкая, лесная, грубая, свободная, одинокая, непосредственная, с глазу на глаз с небом, землей и лесом.

К этой звериной, из века данной жизни тянется человек, о ней он тоскует, как о потерянном рае — и грехопадения и недовольство, и настроения его начинаются с момента, когда силой вещей и обстоятельств он почему-либо отрывается от этой жизни.

Пильняк — писатель «физиологический». Люди у него похожи на зверей, звери как люди. И для тех и других часто одни и те же краски, слова образы, подход. Оттого Пильняк с таким знанием и мастерством рассказывает о волках, медведях, филинах.

Пильняк очень чуток к природе. Он любит, знает ее. Умеет подмечать оттенки, характерные мелочи, не бросающиеся обычно в глаза. Для леса, неба, зимы и осени, метелей у него много слов и сравнений. «Бабым летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня - Златопояс - Никитич - днем блестят его латы киноварью осин, зо-

лотом берез, синью небесной (синью — крепкой, как спирт), а ночью потускнели латы его, как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посеребренная туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаяк».

Пильняк тянется к природе как к праматери, к первообразу звериной правды жизни. И природа у него звериная, буйная, жестокая, безжалостная, древняя, исконная, почти всегда лишенная мягких, ласковых тонов. «Зима. Декабрь. Святки. Делянки. Деревья. Закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещеткой трещит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны... Ползет ночь... Кругом стоят скрытые от можжевельника и угрюмые елки, сцепившиеся, спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегает лесной шум. Желтые поленицы безмолвны. Месяц, как уголь поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен... Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы... И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк и волки играют свои святки.»

В сущности и природа, и эта звериная жизнь у Пильняка скорбны. В рассказе «Смертельное манит» мать говорит дочери: «Смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе, с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда, манит кровь». Это лежит «в природе вещей», в сущности жизни. Такой же скорбью, идущей от са-



Алексей Явленский. Натюр-морт с кувшинами

мого существа жизни, от корней ее обвьяны страницы «Голого года», где дана смерть старика Архипова. То же в «Простых рассказах». Вообще этот мотив у Пильняка не случайный. Есть некоторая приглушенность и горечь во всех его вещах, в стиле, в писательской манере. Пильняк двойственен в своих настроениях. Наряду с бодрым, свежим, задорным то и дело выглядывает иное: горькое, тоскливое.

Русскую октябрьскую революцию Пильняк принял прежде всего не как порыв в стальное будущее, а по бунтарскому. Искал и нашел в ней звериный, доисторический лик. Это совершенно гармонирует с биологичностью его отношения к жизни. Октябрь хорош тем, что обращен к прошлому. Революция освободила народ от царя, попов, чиновников, от ненужной интеллигенции, и вот Русь «ушла в 17-й век». Из Петербурга октябрь увел Россию в Москву. Революцию делал народ, вылезший из изб, деревень, лесов, от полей диких и аржаных, черная кость, мужик. И никакого Интернационала нет, а есть народная, национальная, чисто-русская революция, в которой народ в первую очередь, сочитался со всем наносным, ненужным, с помещиком, с интеллигенцией, с деспотизмом.»

К теме о национальном характере русской революции Пильняк возвращается постоянно.

Естественно далее, что Пильняк утверждает, что «нет никакого интернационала» и что октябрьская революция национальная. В самом деле, какой может быть интернационал, если там, на западе «каждый рабочий мечтает об акциях»? Впрочем, национальный характер русской революции утверждается, главным образом из того, что она вскрыла и освободила от всего постороннего старую избяную, кононную Русь. Наконец «в 17-й век» русская деревня ушла из-за города, моря, бестварья, болезней. Как художник-бытописатель Пильняк схватил вер-

но существенные черты крестьянских настроений, но он делает несомненную ошибку, обобщая указанные черты и выводя отсюда своеобразную «историософию». В общем это были центробежные, а не центростремительные силы русской революции и ими деревенские настроения не исчерпались. В деревне-американизм, — новая буржуазия и беднота, жажда знания, паровых плугов, в деревне — многие другие сложные процессы. Все это бесконечно далеко от взглядов города и чугуна нам ни к чему.

Пильняк писатель не отстоявшийся и сложный. К старому, допетровскому тянется Пильняк и тянет читателя еще в силу ярко пробудившегося национального чувства. Этот национальный национализм, национал-большевизм в вещах Пильняка выявлен как ни у кого из современных писателей и поэтов, работающих в Советской России. Явление широкое, глубокое и действительно связанное с тяготой к старине, с пробудившейся любовью к ней. У Пильняка нет цельности, он часто как бы расщепляется, он еще не нашел точки опоры, оттого его мысли и образы сталкиваются, не согласуются и даже противоречат друг другу.

Пильняк писатель, недавно выдвинувшийся, а между тем заметна большая проделанная над собой работа. Следы этого влияния все чаще и чаще приходится встречать особенно в среде литературной молодежи-лучшее доказательство, что в лице его мы имеем большого и самостоятельного художника. Пильняк быстро крепнет. Особенно это заметно по вещам последним, связанным с впечатлениями, полученными от поездки за границу.

Вообще же он очень безалаберный и талантливый человек. Если верно, что у каждого настоящего художника должен быть непременно свой дурак, то у Пильняка их несколько. От некоторых следовало бы освобо-

Дм. ФАЛЬКІВСЬКИЙ

ПОЛІСНЯ

Очерет мені був за колиску,
В болотах я зродився и зріс.
Я люблю свою хату поліську...
Я люблю свій задуманий ліс.

Що там тропіки, пишні пампаси!
Ви загляньте но в пушу до нас.
Я оддав би за неї відразу
І Тибет, і Урал, і Кавказ.

А поліське похмуре болото?
Пів Полісся вода залила,
Тільки де-не-де хутір самотній,
Тільки де-не-де клаптик села.

Хоть у злиднях живемо, у бруді,
Та привілля, яке навесні,
Коли виставиш вітрові груди
І летиш, і летиш на човні,

А вода і хлопчить, і плаче
Захлинається в лютій злобі.
— Ну, скажіть, в кого серце горяче,
Як весну навесні не любить?

*
* * *

Та що їм до пісень,
До сліз матусі,
До туги сіл,
До нарікання міст:
У золотій останній завірюсі
Спадає лист...

Ридає лист...

Чи ж не тому
в ці дні
похмурі й сонні
під рип осик,
під гайврооння крик
Так хочеться мені,
щоб під виконням
Розцвів ізнов
потоптаний квітник,
Так хочеться,
Щоб у передгроззя грізні,
Коли дзвенить
І грається луна,
Мої докори й
нарікання пізні
Весінне сонце
випило до дна.

Трудно назвать другого поэта серебряного века, так самозабвенно отдавшегося поэзии и не замечавшего происходивших событий, как Осип Мандельштам. Он шел в литературе своей собственной походкой. Имел свой собственный поэтический голос. Жил в своем собственном эстетическом мире тонких нюансов и еле уловимых движений. И стихи свои он писал ровным почерком и читал ровным, спокойным голосом, совершенно одинаково — до революции, в годы гражданской войны и в период ломки, стройки и террора.

Может быть такое игнорирование общественной жизни и явилось главным пунктом его обвинения. Может быть. Во всяком случае, в годы ежовщины его не оставили в покое.

Арестовали, забрали, увезли и обрекли на смерть.

В литературных кругах ходило по рукам четверостишие, якобы обнаруженное у него при обыске во время ареста:

«Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет ждем гостей дорогих,
Гремя кандалами цепочек дверных.»

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою:
Оно легко и грубо —
Из одного куска —
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите молотки
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

* * *

Как тень внезапных облаков —
Морская гостья налетела,
И, проскользнув, прошелестела —
Священных мимо берегов.

Огромный парус строго реет.
Смертельно-бледная волна
Отпрянула, и вновь она
Коснуться берега не смеет.

И лодка, волнами шурша,
Как листьями, — уже далеко...
И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

Кроме бесспорного литературного таланта, Юрий Олеша обладал редким и ценным качеством — непогрешимой профессиональной честностью. Он писал так, как видел, как воспринимал мир, людей, события, жизнь. Художественная правда являлась для него единственным критерием, с которым он подходил к произведению. Хитрить с собой, подделываться под чей-то вкус или чьи-то требования он не хотел и не мог. Социальный заказ был для этого писателя понятием неприемлемым. Он знал только заказ своего творческого «я». И когда литература была взята в рамки партийной директивы, он замолчал. Просиживал дни и ночи в литературных кабаках. Стал автором едких анекдотов и хлестких фраз. До 1938 года его несколько раз арестовывали, но все же выпускали. Наконец, после одного ареста выходная дверь НКВД для Олеша больше не раскрылась, и ему пришлось разделить судьбу многих миллионов, которые брошены на конвейер смерти.

Мой знакомый

[Рассказ]

Многое зависит от квартирных условий. Скажем, если в квартире, где я живу была ванна, душ, я принимал бы каждое утро душ. Душ можно было бы принимать и перед отходом ко сну.

У меня есть спокойный жизнерадостный знакомый.

Он говорит замечательные вещи о проживании в квартире с ванной и душем. У него имеется специальный халат, Бог весть, откуда пришедший к нему — заграничный купальный халат.

Приняв ванну, жизнерадостный знакомый надевает халат и направляется... куда он направляется, в точности не представляю. Возможно, просматривать иностранный журнал, возможно — любить молодую жену.

Я вижу его входящим в комнату, где от паркета исходит соломенное сияние; халат длинен и художественно неуклюж, как риза; над полом раскачиваются кисти.

Что ж, это правильно: надо жить так, вот именно так... Надо любить себя, воспитывать вкус к жизни и,

главное, — не торопиться, не суетиться. Жизнерадостный знакомый говорит:

— Мы оторваны от Европы. В Европе установлен культ спорта, гигиены и комфорта. На этой триаде покоится здоровье, уравновешенное и победоносное сознание современного европейца.

Он молод, ему двадцать пять лет. Он служит, состоит в профсоюзе и числится на военном учете.

Размышляя о нем, я раздражаюсь. Размышляя о своем раздражении, я раздражаюсь еще более, потому что явственно обнаруживаю в природе этого раздражения зависть.

Он прав, — думаю я. — И неправ я, восставая против комфорта, спорта и гигиены. И не прав я думая, что он ничтожен и глуп, потому что может, приобретает халат и играет в теннис.

Я никогда не умел наслаждаться жизнью.

Мне тридцать лет.

В литературе о тридцатилетнем

герое говорить так: «он был молод, ему едва исполнилось тридцать лет». Едва! Правда, в «Войне и мире» Андрей Болконский на тридцать первом году жизни вдруг почувствовал себя старым и решил, что жизнь прошла. Но он же через несколько страниц воскликнул, что в тридцать один год — еще не прошла жизнь!

Я чувствую себя старым. Не знаю, когда оно наступило это постарение. И, может быть, оно не наступило вовсе; быть может, сознание постарения ошибочно; быть может, виной всему квартирные условия, отсутствие ванны и душа, и утр, сияющих соломенным блеском!

Я думаю так: мы, тридцатилетние, — целое поколение тридцатилетних, так называемых интеллигентов — мы слишком скоро постарели.

Почему?

Революция произошла в тот год, когда мы получали аттестаты зрелости. Большинство из нас думало: вот мы кончаем гимназию, вот цветут акации в гимназическом саду, лепестки ложатся на подоконник, на страницы, на изгиб локтя, — вот весна нашей жизни! О, какими замечательными мы будем людьми!

Так думали мы.

У нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья.

Это была галлерея примеров.

Нас с детства вели по этому коридору, повертывали наши головы то в одну, то в другую сторону. В этом коридоре слова произносились шопотом, шопотом назывались имена дядь и двоюродных братьев.

Это были инженеры и директора банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора. Это были бороды, расчесанные на-двое, — обязательно бороды: пенящиеся, а также длинные, как мечи, и короткие — котлетообразные.

И часто в тени бороды, как дриада*) в лесу, ютится орден. Руки были скрещены на груди, что говорило об исполненных задачах, и голо-

*) Дриады (греч. миф.) — нимфы деревьев и лесов.

вы несколько откинута, чтобы виден был блеск чистых лбов.

Каждый из нас семнадцатилетних, должен был стать инженером, адвокатом; у нас должны были вырасти бороды.

Все было известно: были известны магазины, где покупается сукно для студенческих мундиров, и рестораны, подходящие для выпускных пирушек.

Было известно, какой подарок получает сын после окончания гимназии, какое благословение посылает главный родственник, — и всегда находился сбившийся с пути талантливый дядя, который присоединялся к торжеству племянника, вел его в публичный дом, пировал, веселился и плакал, вспоминая на живом примере свою растрченную молодость.

У каждого из нас имелся такой дядя. Считалось, что у такого дяди — золотое сердце. Его погубила женщина... нет, не женщина! Игра в карты? Нет! Неизвестно, что погубило золотосердного дядю. Братья отвернулись от него. Он был предсудительным, но семья немножечко им кокетничала.

При воспоминании о нем говорилось: каждый кузнец своего счастья. Дядя не сковал своего счастья.

* * *

Все было известно.

В семнадцать лет оканчивали гимназию, пять полагалось на университет, к тридцати годам уже сказывались первые результаты ковки счастья. В тридцать лет начиналось положение в обществе.

Разве большинство из нас предполагало, что порядок изменится? Он изменился.

Мы собрались ковать свое счастье, а материал, из которого мы должны были его ковать, уничтожился.

Главным в этом материале было стремление к независимости. Независимость достигалась обогащением.

Нас учили: учись, будешь богатым. Деньги дают свободу.

Мальчик, росший в нищей семье, талантливый сын бедных родителей, в лишениях находил даже радость.

Применялось так называемое стискивание зубов. Это было приятно и почетно — стискивать зубы. И это бывало началом многих великих биографий.

Юноша стискивал зубы. Это значило: ничего, ничего, подождем, я беден, но я добьюсь, но я заставлю, мы посчитаемся...

И он добивался. Он учился, опережал сверстников, вступал в общество победителем, был богат и славен.

С революцией стискивание зубов стало бесполезным. Одиноким путем ничего, обретающего богатство и признание, разом оборвался.

Буржуазия принимала в свой круг разбогатевших нищих и прощала им мстительную заносчивость и кокетничала ими и даже кичилась.

После революции запальчивому нищему стало некуда идти. Гадкие утята перестали превращаться в лебедей.

Кузнецы своего счастья остались с молотами в руках и без материала. Широко размахнувшийся молот — и не по чему бить.

Так некоторые стали авантюристами и лжецами. Так большинство повисло в воздухе.

Мы знали, как начинается самостоятельная жизнь члена общества, как она развивается, как достигает расцвета и как переходит в галерею примеров.

Мы усвоили закономерность и чередование сроков.

Была логика брака, отцовства, семейственности, долга, совести; были твердо установленные нормы: боязнь крови, хвала великодушию, прощению, оправдание компромиссам, цена девственности.

Был образец человека. Это был отец, кого-нибудь из нас, дядя, де-

душка, знакомый, директор гимназии.

Он произносил слова: невеста, жених, жизнь, душа, награда. Мы не только слышали их, — мы их видели! Они выпускали лучи, их можно было нести в руках, как хрустальные сахарницы, Они жили — эти слова — как природа, как деревья, образовывали ландшафт, возвышенный, и печальный, как встреча или расставание с родиной.

И все это оказалось ложью.

И все это исчезло, испарилось, развеялось по ветру. И не успели разлететься последние листья, как мы уже прошли по ним без всякого сожаления.

Нам много говорили о справедливости. Нам говорили и о том, что бедность — добродетель, что заплатанное платье прекрасно. Эти слова волновали нас, и мы давали обещание быть добрыми.

В один год все полетело к чорту. Не все заплатанные платья оказались прекрасными, и не всякая бедность — добродетелью. Справедливостью стало только то, что полезно угнетенному классу.

О, какими серьезными, умными, какими взрослыми должны были бы мы оказаться в тот год, мы, семнадцатилетние юнцы, уважавшие старость, авторитет и знатность.

И вот теперь нам тридцать лет.

Прошлого у нас нет.

Настоящее наше — мысль. Мы думаем, мы мучительно думаем, мы хотим быть мудрыми.

Мы хотим все наши понятия о добродетелях подвергнуть переработке ради того вывода о справедливости, который стал для нас единственно важным в тот год, когда произошла революция.

Мы гораздо умнее и лучше, чем наши отцы.

Не надо упрекать нас в том, что мы не умеем устроить нашу жизнь. Мы часто неряшливы, у нас нет души, мы нервны через меру, крик-

ливы, задумчивы, рассеяны, и щеки у нас не всегда выбриты.

Мы прекрасно понимаем, что неврастеничность наша противна революционной молодежи, над нами смеются. Это делает нас еще более старыми.

Жизнерадостный мой знакомый в хороших отношениях с портным. Они советуются о покрое, долго советуются, устраивают встречи,—покрой должен быть самым последним, модным, — крик. Как в Европе.

Он говорит:

—Сейчас это уже не носят.

Где не носят? В Европе.

Он не был в Европе, но ему известно все.

— Сейчас это уже не танцуют.

Он все знает. (О, я просто завидую ему!)

Он островитянин среди нас. Расстояние, отделяющее его от европейских границ, — только лишь география. Это расстояние можно проехать. Так просто.

Я ненавижу моего жизнерадостного знакомого. Он тень того меня,

которого уже нет. Я шел, я дошел до года, ставшего рубежом, — дошел и исчез. И вот меня нет такого, каким я был, когда подходил к рубежу. Я стал другим.

И вдруг я вижу: появилась тень. Моя тень существует самостоятельно, а я стал тенью. Меня считают тенью, я невесом и воздушен, я — отвлеченное понятие, а тень моя стала румяной, жизнерадостной и с презрением поглядывает на меня.

Откуда он появился, этот лебедь, никогда не бывший гадким утенком? Кто его воспитал? На что он рассчитывает? Неужели он твердо убежден, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние?

Я хочу быть неряшливым и небритым. Я подожду. Мне ничего не жаль.

У меня нет прошлого. Вместо прошлого, революция дала мне ум. От меня ушли мелкие чувства, я стал абсолютно-самостоятельным. Я еще побреюсь и приоденусь. Я еще буду наслаждаться жизнью.

Революция вернет мне молодость.

..... *

ПЕРЕВОДЫ

Андре ЖИД

«Возвращение из Советского Союза»

Перед своей поездкой в Советский Союз я писал:

Значение каждого писателя неразрывно связано с вдохновляющей его революционной силой. Точнее (ибо безумием было бы недооценивать художественную значимость произведений левых писателей) — силой оппозиции, отраженной их творчеством. У Боссю, Шатобриана, Мольера, Вольтера и Гюго, также как у нашего современника Клоделя, обнаруживаем мы пульсирование этой силы. Социальное устройство общества неизменно приводит всех больших писателей к оппозиции; они вынуждены плыть по течению. Таким было творчество Данте, Сервантеса, Ибсена, Гоголя... Для Шекспира и его современников эта внутренняя настроенность не является характерной. Очень хорошо сказал о литературе шекспировского периода английский критик Джон Эдиттон Саймондс: «Драматическое искусство этой эпохи стояло на такой высоте потому, что творчество и личная жизнь писателей были проникнуты глубокой симпатией ко всему народу» и непримиримость творчества не характерна также для Софокла и, конечно, для Гомера, устами которого казалось, пел весь греческий народ. Бить может, она исчезнет в тот день, когда... И потому внимание наше устремлено сегодня к Советскому Союзу и нас волнует вопрос: не приведет ли торжество революции к тому, что люди свободного творчества будут унесены волной времени? Что произойдет, если изменившийся социальный порядок отнимет у художников возможность к протесту? И как отразится на их творчестве отсут-

ствие необходимости критики, а вместе с этим — неизбежность плыть по течению? Бесспорно, пока продолжается борьба и еще не окончательно закреплена победа революции, писатели примут участие в этой борьбе, смогут отражать ее в своих произведениях. Что же произойдет вслед за этим?

Над этими вопросами я часто задумывался перед своей поездкой в Советский Союз.

— Поймите, — сказал мне однажды Х., — не публика, а мы сами предъявляем к авторам это требование. Недавно был поставлен его балет. («Он» — Шостакович, о котором часто говорили в третьем лице). Замечательное произведение, имевшее успех. Но, скажите, для чего нужна народу музыка, прослушав которую нельзя запомнить ни одного мотива? (Я поражен: какая отсталость! И надо сказать, что Х. — художник, человек незурядного интеллекта, интересно беседовавший со мной до сих пор только на творческие темы.)

— Нам нужны сегодня произведения, — продолжал он, — которые доступны воспитанию народа. Если Шостакович не понимает этого сам, то мы можем заставить это почувствовать, игнорируя его музыку.

Я протестую. Возражая ему, утверждаю, что многие замечательные произведения, сделавшиеся впоследствии широко популярными в народе, вначале могли быть оценены по достоинству лишь самым узким кругом ценителей. Через это испытание прошел даже Бетховен... Со мной случайно оказался томик писем Гете. Я протягиваю моему

собеседнику книгу, обращая его внимание на одно из писем Бетховена Гете:

«Много лет назад я также дал в Берлине концерт, — пишет Бетховен. Я весь отдался вдохновению и надеялся, что публика, оценив мое мастерство, проводит меня аплодисментами. Каково же было мое изумление, когда исполнение одного из лучших моих произведений не нашло ни малейшего одобрения слушателей.»

Х. стал горячо уверять меня, что в Советском Союзе и Бетховену не легко было бы снова подняться после подобной неудачи. «Видите ли, — продолжал он, — люди искусства в нашей стране должны, прежде всего, следовать генеральной линии. Мы не остановимся перед тем, чтобы и самые большие дарования осудить за формализм творчества... Мы стремимся к созданию нового искусства, достойного великого нашего народа. Искусство сегодняшнего дня должно быть народным. Это требование является вопросом его бытия.»

— Вы вынуждаете всех людей творчества к пассивному примиренчеству, — сказал я ему. Лучшие из вас, которые не хотят предать искусство и мужественно отказываются склониться перед требованиями партии — их вы обрекаете на молчание. И вы претендуете на то, что являетесь защитниками культуры! История не простит вам этого лицемерия!

Не задумываясь Х. обвинил меня тогда в буржуазной идеологии. Он стал с увлечением доказывать, что только марксизм может привести к созданию значительных произведений в области литературы и искусства. Ведь созданы уже марксистской наукой крупные труды в стольких областях знания! И только внимание, которое продолжает уделяться до сих пор отжившему прошлому, является причиной задержки появления этих новых замечательных произведений.

Разговор наш происходил в вестибюле одной из советских гостиниц. Все это время Х. говорил громко, в каком-то подчеркнуто повышенном тоне. Казалось, он произносил слова заранее выученного урока. Не возразив ему ни слова я повернулся и ушел. Каково

же было мое удивление, когда через несколько минут я увидел его входящим в мою комнату.

— Я понимаю ваше недоумение, — проговорил он на этот раз тихим голосом. Нас подслушивали... Поймите мое положение — через несколько дней должна открыться моя выставка.

Когда мы приехали в Советский Союз, общественное мнение находилось под влиянием происходящей в это время дискуссии о формализме. Я пытался понять смысл, вкладываемый здесь в это слово. И мне кажется, что обвиняемые в формализме писатели виновны разве только в том, что уделяют содержанию своих произведений меньше внимания, чем их форме. Необходимо добавить, что единственно допустимым признается лишь то содержание, которое следует направлению генеральной линии партии. Каждое произведение литературы и искусства, лишенное партийной тенденции, осуждается как формалистическое. Признаюсь, что я и теперь не могу сдержать улыбку при одном упоминании слов «форма» и «содержание». Впрочем, уместнее здесь оказались слезы: ведь бессмысленный этот подход может вскоре привести к окончательному уничтожению подлинной критики. Вполне вероятно, что с политической точки зрения это может оказаться и выгодным. Но тогда не рекомендуется провозглашать себя защитниками культуры: в стране, где народ лишен права свободной критики, культура находится в опасности. Самые замечательные произведения, лишенные партийной тенденции, осуждаются в Советском Союзе, как «крамольные», антинародные. Понятие прекрасного оценивается марксистской эстетикой, как буржуазная ценность. Как бы гениален ни был художник, но если он не следует установленному направлению — общественность отворачивается от него. Все, что требуется в СССР от людей творчества — это солидарность с генеральной линией. Остальное приходит само по себе.

В Тифлисе мне довелось побывать на выставке картин мертвых художников, о которых милосерднее было бы вовсе не писать. Впрочем, они добросовестно вы-

полнили свой заказ: увековечили на своих полотнах различные эпизоды из жизни Сталина. «Формалистами» этих художников, разумеется, не назвал никто.

В Ленинграде меня попросили подготовить небольшой доклад для прочтения его на собрании литераторов и студентов. Прошло всего восемь дней с тех пор как я приехал в Советский Союз. По началу пришлось призадуматься над тем, как правильнее попасть «в тон». Текст моего доклада я заблаговременно вручил Х. У. Мне тотчас же дали понять, что содержание его носит «идеологически нездоровый характер». Это, впрочем, я скоро понял сам. С докладом этим мне, конечно, выступить так и не пришлось. Привожу некоторые выдержки из него:

«Меня часто просили высказать мое мнение о состоянии литературы в Советском Союзе. Хочу объяснить, почему до сих пор я отказывался это сделать. Пользуюсь случаем, чтобы одновременно остановиться на некоторых мыслях из моей речи, произнесенной на Красной Площади в день смерти Горького. Я говорил тогда о «новых проблемах», возникших, благодаря победоносным успехам Советского Союза. В том, что стала возможной постановка и обсуждение подобных проблем — в этом уже заключается одно из достижений вашей страны. Будущее культуры мне кажется тесно связанным с разрешением этих проблем. Поэтому я считаю бесполезным сделать их еще раз предметом нашего обсуждения, внеся при этом уточнения отдельных мыслей.

Даже среди передовых людей встречаем мы множество таких, которые с опаской относятся ко всему новому. Они, не задумываясь, отвергают произведения, вызывающие сомнения, довольствуясь принятием обще-признанного шаблона. Не трудно убедиться в том, что буржуазные штампы встречаются в художественном творчестве так же часто, как и революционные. Любая доктрина — пусть даже самая глубокая и убедительная, — приспособленная к требованиям времени, заранее обречена на неуспех. Произведения этого направле-

ние, теряют те качества, которые могли бы обеспечить им место в истории литературы, истории непреходящих ценностей человеческого духа. Я сильно опасаясь, что имеющие сегодня успех произведения (разумеется, пропитанные духом последовательного марксизма) будут позже восприниматься, как нечто уродливое, искусственно препарированное. И я глубоко убежден в том, что лишь освобожденные от идейного плена марксизма произведения будут восприниматься как подлинно художественные труды.

В период победоносного утверждения революции искусство находится в не меньшей опасности, чем в странах фашистского произвола: опасности ортодоксального мышления. Оно неизбежно попадает в тиски генеральной линии партии, обрекается на следование казенной идеологии. А между тем, страны торжества революции должны были предоставить людям творческого труда свободу, без которой искусство утрачивает свой смысл и назначение.

Одно из лучших своих произведений Уолт Уитмен написал на смерть президента Линкольна. И если бы эта свободная песня была написана по принуждению, если бы Уитмен был вынужден к творчеству по закону, то стихи его бесспорно утратили бы всю свою красоту и свежесть. Скорее всего — Уитмен оказался бы не в состоянии их написать.

Вполне естественно, что наибольшим успехом пользуются те произведения, которые публика имеет возможность узнать и оценить после их появления в печати. С волнением думаю я о том, что в Советском Союзе, быть может, скрываются неизвестные толпе дарования, не имеющие возможности дать о себе знать. Эти непризнанные сегодня Бодлеры, Рембо и Стендали могут обнаружить завтра свое величие.

БУХАРИН

На следующий день нашего приезда в Москву меня посетил Бухарин. В то время он еще пользовался большой популярностью. Когда в последний раз Бухарин появился на собрании — не помню точно каком — народ встретил

Сергей ЕСЕНИН

его подлинной овацией. Однако, признаки шаткости его положения уже начали обозначаться, и когда Пьер Эрбар хотел поместить в своем журнале одну из его замечательных статей, то он наткнулся на упорное сопротивление свыше. К сожалению, я узнал обо всем этом позже.

Бухарин пришел один. Но не успел он перешагнуть порог салона роскошного помещения, отведенного мне в гостинице «Метрополь», как вдруг откуда ни возьмись появился под видом журналиста какой-то подозрительный тип. Вмешавшись в наш разговор, он сделал невозможным его продолжение. Бухарин тотчас же поднялся и вышел. В передней он успел сказать, что надеется встретиться со мной еще раз.

Я встретил его тремя днями позже на похоронах Горького. Было это, впрочем, накануне дня похорон. Перед утопающим в цветах катафалком нескончаемая вереница лиц, пришедших проститься с великим писателем. В небольшом соседнем помещении собрались «ответственные работники», среди которых находился тогда еще мне незнакомый Димитров. Рядом с ним стоял Бухарин. Как только я отошел от Дмитрова, он взял меня за локоть, наклонился и сказал:

— Могу ли я видеть вас через час в «Метрополе»? Я хочу поговорить с вами.

Сопровождающий меня Пьер Эрбар случайно услышал эти слова:

— Держу пари, что это ему не удастся, — сказал он вполголоса.

Действительно: увидев, что Бухарин разговаривает со мной, Кольцов тотчас же отвел его в сторону. Не знаю о чем говорили они, только за все время моего пребывания в Москве я уже ни разу не встретил Бухарина.

Не получи я этого предупреждения, быть может многого я так бы и не сумел понять. Не исключена возможность, что я мог бы вынести впечатление, будто Бухарин не захотел меня больше видеть или не нашел для этого времени... Но никогда, ни при каких обстоятельствах не подумал бы я, что ему были запрещены встречи со мной.

Имена многих писателей — в том числе и Есенина — стали исчезать из официальной литературы. О Есенине никто не говорит теперь во всеуслышанье, но имя его не забыто. Есенинские стихи, хоть и вполголоса, но продолжают с увлечением читаться. Я был мало знаком с творчеством этого замечательного поэта, но событие, о котором я сейчас расскажу, пробудило мой интерес к нему.

Также как и Маяковский, он кончил самоубийством. Можно подумать — сентиментальная история! Быть может. Представляем, впрочем, каждому призадуматься над более глубокими причинами трагического его конца.

Было это в Сочи. В один из вечеров собрались мы после отменного ужина. Сопретые вином и дружеской беседой, почувствовали мы атмосферу искреннего доверия в нашем кругу. Изрядно выпивший Х. неожиданно начал обнаруживать склонность к лирическим излияниям. Неотступно следовавший за нами гид стал проявлять признаки некоторого беспокойства. Уж не болтнул ли Х. лишнего? Когда же он вдруг заявил, что хочет прочесть нам новые стихи Есенина, гид решительно запротестовал:

— Вы совершенно пьяны! Сейчас же замолчите: вы сами не знаете, о чем говорите...

Каково было наше удивление, когда Х., несмотря на свое опьянение, тотчас же замолчал. Маскируясь своим состоянием, он только попросил гида купить ему пачку папирос. Не успел бдительный наш чичероне выйти из комнаты, как Х. начал читать обещанные стихи. Были это не обычные стихи — поэтический ответ Сергея Есенина на атеистическую статью одного из писателей, богохульство которого вызвало благородное негодование поэта. Поэма эта не была принята к печати, но получила, несмотря на это, самую широкую известность. Есенинские стихи тайком переписывались, заучивались наизусть, передавались из уст в уста.

Вот краткое их содержание:

— Когда ты восставал против попов,

—обращается Есенин к автору пасквильной статьи, — мы поддерживали тебя. Мы присоединились к тебе и тогда, когда ты осмеянию подвергал небо и землю, ад и рай, Бога и Богородицу. Но горе тебе, когда заводишь ты речь о Христе. . .

Дрожащим голосом произнес он последние слова. И было ли это только опьянение, что привело его в такое волнение, заставило задрожать этот всегда спокойный голос, показаться слезам на глазах. . .

Мы молча сидели, покоренные этими стихами. Х. был вовсе не красив, мало того — даже непривлекателен. Но что-то вроде печати гениальности одушевляло его лицо. Голос, всегда глухой и

хриплый, получил оттенок какой-то особенной мягкости. Новое, обнаруженное теперь, вступало в явное противоречие со всем тем, что неизменно отличало его всегда. Куда исчезли теперь этот цинизм, нарочитая грубость — весь Х., каким представляли мы его прежде? Неожиданно раскрылось что-то подспудное в нем, всплыла целая гамма больших человеческих чувств. И ясно стало, что и грубость, и цинизм — все это было лишь наносное, нисколько не задевшее лучшей части его души.

Очарование момента оборвалось... В комнату вошел гид. Мы тотчас же переменили тему и разговор наш вошел в обычную свою колею.

С французского перевела **Б. Ростова**

..... *

Готфрид Бенн (1886) — один из самых замечательных поэтов современной Германии: В своей лирике Бенн неустанно ищет новых путей, новых средств выразительности. «Есть настроения и мысли, — пишет он, — которые можно выразить уже существующими словами. Но есть настроения и мысли, которые могут найти свое выражение лишь в ненайденных еще словах и образах». Поэтическая ткань стихов Бенна подчинена этому исканию новых образов, культивированной форме, которая, по его словам, является «проблемой поэтического бытия, первостепенной задачей поэта».

Глубоким внутренним взглядом воспринимает Бенн жизнь в сложном конгломерате ее проявлений. С остротой беспощадного реалиста отображает он иногда самые неприглядные стороны действительности. Иногда же, пытаясь отойти от отталкивающей его современности, укрывается плащом поэтической мечты. Не случайно говорит Бенн о поэтах как «Verwerter unserer Träume», отображающих в стихах своих романтический мир мечты.

В восприятии, поэтике и эмоциональном тембре стихотворений Готфрида Бенна находим мы что-то созвучное Борису Пастернаку. Оба поэта одарены редко встречающейся глубиной большого сердца, остротой восприятия. Их поэзия замечательна формой, предельно индивидуальной, своеобразной, подчас неповторимой свежестью и новизной образов, художественных приемов.

Готфрид Бенн — своеобразный поэт, мастер изысканной прозы, глубокий мыслитель — бесспорно является интереснейшей фигурой сегодняшней литературной Германии.

ОХРИОН

Сон — о тебе. Умирая ты шла,
Прохладная в сумбуре лиц и красок,
Мне незнакомых. И волна росла,
Мой взгляд тебя удерживал напрасно.
И вдруг как будто манием жезла
Все замерло, припало к белым чашам,
И веки опустили детям нашим,
И в складки мазь душистая легла.
Двух мальчиков ты за собой вела,
Не от меня. Нет я ведь был бездетным,
А то бы ты так скоро не ушла,
Едва лицо мне обернув с приветом.
Нет, ты — Диана, ты как изваянье
Единственно отличная от всех.
Ты шла путем стыда и поруганья,
И ты страдала — видел я во сне.

СЕНТЯБРЬ

Ты флоксы за изгородь перегнул
Расхлестанным ливнем,
В их аромате глушь,
Они уходят в ствол
На клумбах старичков,
На грядках бальзамина,
И дым над полем
Вдыхают бодро, но с грустью.
Вот дом на горке строят:
Ах кабы крышу сделали к зиме!
Вот парни известь гасят
И ты печальное «напрасно»
Не смеешь бросить им.
Ты — в тыквах, в вязкой влажной земле
Ты — заросли жабы, жирный грунт
Грузный, нечистый, промокший

насквозь.

Из равнины выпедший,
Погасивший пламя,
Распухший плодородием
Ты кажешь потемневшее лицо.
Шут или креститель,
Фигляр при лете, вздыхатель, шут,
Иль глетчеров предвестник,
Ореши целкаешь,
Жнешь травы,
Уходишь в азбучные истины.
А дальше — снег,
Бесплоден — молчалив,
И неразгаданность просторов,
Ты их рукой достанешь.
А за забором в траве
Жуки, полевые мыши,
Жизни жаждущая —
Живность — кишащая.

СЛОВО

Вот из значков выходит слово,
Выходит фраза, жизнь, и смысл,
Из сферы замерли сурово,
И солнцем к слову подались.
Вот слово — блеск, проклятье, пламень,
Полет звезды, бросок огня
И снова тишь, и тьма настанет
В той пустоте где мир и я.

ПЕЧАЛЬ

Она сойдет и одурит слегка
Как одуряют пышные глицинии,
И этот час — тоска бессильная,
Что ты беднее этого цветка,
Что ты не бесконечен словно свет
Лучем сходящий в превращениях,
Но слитый в формах, воплощениях,
В единый одуряющий букет.
В единый бархат всех вещей покой,
Текущий ровно не мельчая.
Замри-же в час такой печали —
Здесь грань лежит. Здесь время — стой.

Перевод **Олега Ильинского**

..... *

Письмо в редакцию журнала «Литературный Современник»

Когда я писал книгу «Мой друг Вася», я думал только о том, чтобы предоставить соотечественникам моим правдивое сообщение о виденном и пережитом в Макеевке. Убедительнее всего, конечно, оказался бы документальный фильм. Но создать его в советских условиях было невозможно; поэтому стремлюсь я в моей книге с предельной точностью рассказать о том, что довелось мне увидеть и услышать в СССР.

Добиться необходимого понимания было нелегко. Начать с того, что издатель был не согласен с названием моей книги. Он нашел его недостаточно выразительным и предложил заменить сенсационным заголовком вроде «В стране рабов» или «Год в аду». Я утверждал, что не может быть названия сенсационнее выбранного мною, ибо им утверждается совершенно новое чувство солидарности, которое проявляет Запад к русскому народу. И хотя издатель не понял глубокого смысла моего возражения, я все-таки сумел настоять на своем.

Я, разумеется, знал, что изображение неприкрашенной действительности имеет мало шансов на успех. Особенно в данном случае: совесть западного мира была нечиста по отношению к русскому народу. История не забудет массовой выдачи русских беженцев на расправу советским палачам в 1945-46 годах. Эта тема тщательно избегается французской и английской печатью, но я надеюсь, что скоро настанет время объективного ее обсуждения. «Мой друг Вася» нашел множество искренних друзей не только во Франции, но и в Голландии, Бельгии, Португалии, Англии. Вскоре книга моя

выйдет и в Америке. Я вижу в этом проявление большого сдвига. Разве не подтверждает все это необходимость убеждения Запада в том, что русский народ не должен быть отождествлен со своим правительством? Впрочем, не следует забывать и того, что — как лед из воды — каждый политический режим порождается своим народом. Наступают времена, когда слой льда делается настолько тонким, что малейшего толчка оказывается достаточно, чтобы заставить его проломиться.

Каждое общественное явление должно быть подвергнуто всестороннему научному изучению — только это может дать нам возможность постигнуть создавшуюся в человеческом обществе ситуацию. Я надеюсь, что книга моя предоставит материал для подобного исследования.

Вася и его друзья — люди в самом высоком значении этого слова; свободные, мыслящие люди, они укрепляют нашу веру в будущее. Лично я обязан им тем, что остался жив.

Со времени появления моей книги мне неизменно задается один и тот же вопрос: моя автобиография. Надо сказать, что в Макеевке мне пришлось заполнить множество анкет, писать столько автобиографий, что с тех пор ничто не может быть неприятнее рассказов о своей жизни. Особенно теперь, когда я узнал о том, как мало ценится человеческое существование в Советском Союзе.

Я — учитель французской средней школы. Таких — тысячи. Я люблю солнце, вино и твердо верю в то, что нес-



Александр Явленский. Этюд.

мотря на все прегрешения, нас все-таки ждет лучшее будущее.

Я верю в равенство всех людей и надеюсь, что настанет день, когда осуществится объединение мира по принципу швейцарских кантонов. Я уверен также в том, что только любовь и вера спасут мир от гибели.

Я твердо верю в то, что нам все-таки удастся познать правду. Только искать ее мы должны с тем упорством и непреклонной волей, с какой ученые стремятся познать истину. Нам нужна правда, только правда, какой бы она ни была — пусть даже противоречащая нашим представлениям и чувствам.

Я непоколебимо верю в Европу и надеюсь, что недалек тот день, когда рус-

ский народ сделается свободным членом освобожденной Европы. Сотрудничество европейских народов может быть только на благо всему нашему континенту, его культуре. Не будь Бальзака — не удалось бы Толстому создать «Войну и мир», обогатив этим произведением историю мировой литературы. Однако, без Толстого и Достоевского многое в культуре запада оказалось бы просто немыслимо.

Лично я обязан русскому народу столько, что вряд ли хватит всей моей жизни, чтобы отблагодарить его. Впрочем меня это не тревожит. Я знаю: на том свете или на этом — ни одно доброе дело не пропадает даром. Быть может, и не от меня, но Вася и его друзья свою награду получат.

Мой друг Вася

(Отрывки из романа Жана Руно)

Спроси об этом Сталина

В мою память запал совет Коли: «Пока начальник здесь — работай, отвернется — делай что хочешь». Я вспоминаю теперь эти слова. Вспоминаю и силюсь понять. Вот она, рабская психология: делай для виду что приказано и не упущи случая полодърничать или обворовать хозяина, если это может пройти безнаказанно. Вначале мне многое было непонятно. Поразило лишь то, что мне, чужеземцу, по-дружески доверяют эту выстраданную мораль. Значит я не одинок. У меня появились друзья. И свой тягостный ежедневный путь на шахту одолеваю я теперь с новыми силами.

Когда колонна подошла к шахтоуправлению, я отделился от нее и направился в ламповую мастерскую. Но добродушная охранница Вера, вооруженная самым что ни на есть допотопным ружьем, неожиданно останавливает меня. Оказывается, она хочет сама ввести

и меня в новый цех, чтобы там самолично представить.

— Вот вам Руно, — обратилась она к работникам.

— Здравствуй, Руно! Здорово, очки!

Моя особа их, видимо, изрядно забавляла.

— А почему он опаздывает? Завтра приведи его пораньше. Давай-ка сюда, Руно, становись на работу!

Промче всех раздается голос одной девушки. Небольшого роста, круглолицая, она кричит что есть силы до тех пор, пока подруги не заставляют ее замолчать.

— Хватит тебе, Зоя, иди лучше к своим лампам.

В мастерской я сразу же увидел Колю. Он сидел на полу около горна и грелся. Лицо его было покрыто крупными каплями пота. Не обращая внимания на мое появление, он продолжал ругать свое начальство.

— Лежебокая банда! Паразит на паразите! Провались вы все к чорту на

дно! Погодите, вот погаснут эти печи и не удастся вам их снова разжечь!

Пока Коля ругался, Иван, не отрываясь, смотрел через окно во двор; его, видимо, очень интересовало то, что там происходило. Упершись коленями в тиски, прильнув лицом к стеклу, он глядел на толпу, стоящую перед окном. Там было не меньше сотни человек. С ними — охрана НКВД с автоматами наперевес. «Живо, живо», — раздался окрик. Голоса охранников были хриплыми, натруженными. В них можно было угадать нетерпенье, привычку командовать и пренебрежительное отношение к бесправным людям. Страдание, отчаянье беспросветное отображает собой мрачная толпа заключенных. Среди них — люди всех возрастов. Были там юноши, почти дети, были и седые старики. И хотя они только теперь приступали к работе, руки их были черны от угольной пыли, в складках лица резко обозначились черные борозды.

Кого искал среди них Иван догадаться было трудно. Брата, друга или просто земляка? Но я чувствую — он с ними. Своим пристальным взглядом он ловит все их движения, жесты, невнятные слова.

Между тем охрана выстраивает заключенных по четыре человека в ряд. Все они получают шахтерские лампы. Не могу понять почему они пытаются открыть крышки и так яростно стучать по колпакам ламп.

Как удар хлыста, команда: Шагом м-а-ри! Колонна тронулась. Теперь они идут быстрым шагом, хотя минутой раньше топтались на месте, стремясь как можно больше затянуть время. Вот они проходят перед нашими окнами. Иван провожает их пристальным взглядом до тех пор, пока не исчез с поля его зрения последний человек. И тогда, словно проснувшись, он выпрямляется, плюет со злостью на пол, поворачивается ко мне. Я вижу на лице его смущенную улыбку. Оттянув свой картуз на затылок, он мягко садится на свое место и произносит, потирая ладони:

— Ну что-ж, давай закурим!

Зоя просунула голову в дверь:

— Идите заряжать лампы!

— Опять затворы не в порядке, — закричал разъяренный Николай. Ста-

рая история! Разве не видишь, что я разжигаю огонь?

— Все равно, кто-то должен помочь.

— Проваливайся, и чем скорее, тем лучше.

— А чтоб вас всех черти забрали!

Девушка исчезла. Коля и Иван смеялись.

— От этих девок здесь прока мало.

— Валяй, Коля, надо ж им все-таки помочь.

— И не думаю.

Иван поднялся, взял отвертку и направился в помещение, где работницы, открывая шахтерские лампы, пытались снять пробки аккумуляторов. Мне объяснили, что затворы должны были быть изготовленными из стекла, но теперь за неимением его делаются из дерева. Щелочь разъедает эти пробки, поэтому снимать их нужно очень осторожно. Но я замечаю, что никто особенно не старается: если затвор сопротивляется, то его просто проталкивают вглубь.

Когда все затворы были вынуты, работницы вновь заполнили их щелочью и выставили заряженные лампы для выдачи.

Начинается сборка электро-магнета. Вместе с Иваном иду в шахтерский склад за цементом. Выгрузив его, Иван решил отдохнуть. Кстати, в это время начальство ушло в столовую. Мы возвращаемся в цех. В печи плавят раскаленный кокс. Иван ставит на огонь небольшой котелок. Подогрев свой несложный обед, с отменным аппетитом принимается за еду. Я отворачиваюсь. Пытаюсь отвести глаза: не следует подвергать испытанию голод. Вдруг Иван обращается ко мне, протягивая свой котелок и ложку:

— Бери, ешь!

Едва тронутый котелок жжет мою руку.

— Да нет, спасибо.

— Поблагодаришь потом, — произносит сердито Иван.

Я беру из его рук котелок и ем, ем мою первую картошку в России.

Снова на лестнице появляется Зоя.

— Где Коля?

— Зачем он тебе?

— Мне нужны затворы.

— Оставь Колю в покое, получишь их без него.

Иван принимается за отточку затворов из дерева. Он дает мне нож собственного изготовления и я начинаю учиться вырезать эти затворы из бесформенных кусков дерева. После часа работы мною вдруг овладевает легкое чувство радости. Я счастлив от сознания того, что и мои десять пальцев оказались способными к созданию.

Около одиннадцати часов в цеху появляется Вася. Все утро провел он в шахте.

— Слушай, Руно, какая у тебя, собственно, профессия, — обратился он ко мне.

Необходимость лжи смущает. Отвечаю, что работал раньше в области радио. Вася настаивает, хочет узнать подробности о моей работе. Я не осмеливаюсь сказать ему правду. Поэтому наскоро придумываю историю о том, что был специалистом звука, вернее акустики, работал на передаточной радиостанции.

— По твоим рукам видно, что ты никогда не был рабочим. Что же касается твоей специальности, я что-то не могу в ней разобраться. Но, да это и не важно! Возьми лучше этот кусок сала. Вот и сахар.

И Вася заставляет меня разделить с ним его стахановский паек.

Один вопрос вертится у меня на языке. Я хочу узнать правду о тех шахтерах, которые маршируют в колоннах по четыре, окруженные охраной с пулеметами в руках. Обратиться с вопросом к Ивану я почему-то не осмеливаюсь. Спрашиваю Васю.

— Это осужденные. Осуждены на 10, 15 и 20 лет заключения и принудительных работ.

— Русские?

— Только русские.

— Что же они сделали?

— Об этом, приятель, надо спросить Сталина. Затем, помолчав: К тому же, учти, через это пройдем все мы.

— Да, — неожиданно воскликнул Коля, — это ожидает всех нас. Тебя тоже, не воображай себе ничего другого. Ты тоже сложишь здесь свои кости.

В раю

— Тебя только что вызывал начальник, Вася.

— Он-то мне и нужен — пусть приходит!

Вася снова принимается за работу. На очереди у него — четыре ключа. Это его частный заказ; получает за ключ он по 60 рублей — почти в два раза больше оплаты его десятичасового рабочего дня. Жаловаться Вася не привык. Иногда только — мне запомнился характерный его жест — недоуменно пожимает плечами.

Взгизнул напильник. Наклонившись над верстаком, Вася оттачивает деталь. И весь его облик при этом красноречиво изобличает ход его мыслей. Хочу узнать что тяготит его — но в это время в цех входит Влас Парамонович. Совет Коли приходится мне очень часто кстати. Так и теперь: с видом неподдельного усердия принимаюсь я поспешно за обработку затворов. Вася продолжает оттачивать свой ключ. Начальник останавливается около него, несколько минут молча наблюдает.

— Где машина? — обращается он вдруг к Васе.

— Какая это машина?

— Ты ведь прекрасно знаешь, что сегодня утром должен был быть починен автоматический выключатель.

— Вот что, Влас Парамонович, я хочу задать тебе один вопрос. Кем я здесь работаю — рядовым рабочим или нет?

— Не вижу смысла в твоём вопросе.

— Зато я вижу его. Знаешь ли ты сколько я зарабатываю в месяц?

— Я не помню наизусть твою ведомость.

— Зато я помню ее: 456 рублей 33 копейки.

— К чему, собственно, ты все это ведешь?

— А вот к чему: входит ли починка машин в обязанность рядового рабочего?

— Для чего спорить? Ты сегодня, видно, не в духе. Ведь до этих пор ты всегда чинил автоматические выключатели. Почему вдруг теперь передумал?

— Не рассчитывай на то, что я буду выполнять эту работу до тех пор, пока меня не повысят в разряде.

— Это меня не касается. Сам знаешь, все зависит от Бориса Петровича.

— Не спорю. Но ведь ты мой начальник и твое дело разобраться в этом.

— Послушай, Вася, до сих пор я говорил с тобой по-хорошему, но теперь

мое терпенье лопнуло. Приказываю тебе починить машину.

— Приказываешь? А я не дотронусь до нее! Ведь я рабочий низкого разряда — как оплачиваюсь, так и работаю. Когда назначите меня механиком, сможете требовать, чтобы я выполнял все задания.

— Это твое последнее слово?

— Мое последнее слово.

Опустив голову, заложив руки в карман, начальник бросает вокруг себя яростные взгляды. Затем раздражается отчаянной руганью, смачно плюет на пол и уходит.

В цеху повисло напряженное молчание.

— Вот бандиты, — оборвал тишину Вася. Теперь крышка! На мне они больше не поедят!

Все это время Иван не произносит ни слова. Широкая улыбка освещает его лицо.

— Закурим, — продолжая улыбаться, произносит он. Коля, пытавшийся в это время открыть лампу, бросает ее в сторону, вытирает запачканные руки и повторяет:

— Что же, перекурим.

— Скажи-ка, Вася, — говорю я, — разве ты не можешь обратиться в синдикат?

— В синдикат, — покатываются они втроем от смеха, — в синдикат. Хороший это синдикат — ты еще узнаешь его.

— Разве нет никакой возможности защитить твои права?

— Никакой! А у тебя во Франции — что бы я мог предпринять в этом случае?

— Во-первых, ты должен был бы обратиться в синдикат. И насколько я знаю, никто не мог бы заставить тебя выполнять работу, которая не оплачивается. В худшем случае, если бы синдикат не сумел защитить твоих прав, ты бы ушел с работы.

— Как это — ушел?

— Ну, нашел бы другую работу в другом предприятии, может быть — в другом городе.

— Не может этого быть! Разве вправе ты бросить работу, переехать в другой город? Слушай, Руно, не рассказывай ты нам сказки! У нас ты, положим,

тоже можешь уйти. Но если ты бежишь, тебя поймают и не избежать тебе тогда лагеря, высылки в Сибирь. Это почти неизбежный конец.

— Как же это? Неужели вы не можете работать в другом месте, если оно вам больше по душе?

— Конечно, нет. Мы находимся здесь, в Макеевке, шахте номер десять, и никакими силами не можем тронуться отсюда.

— Так как же это? Получается что вы здесь на положении мобилизованных?

Подумав немного, Вася ответил:

— Да, так оно и есть: мы все себя чувствуем здесь солдатами армии принудительного труда.

— Но есть же у вас какие-то права, льготы?

— Ну и сказал! Моя семья живет всего в трехстах километрах отсюда, но вот уже прошло пятнадцать лет, как я не видел свою мать.

— Невероятно! Этому и поверить трудно.

— Что же думают у вас о России?

— Одни представляют себе всевозможные ужасы, другие считают, что Советский Союз — подлинный рай.

— Рай?..

— Почему удивляет это вас так? Ну да, рай.

Это слово заставило моих друзей рассмеяться. Они смеялись до слез, не уставая повторять: «рай, это мы-то живем в раю». И когда к полудню в цех пришли шахтеры, все узнали мою историю, которая продолжала иметь неизменный успех. Все смеялись, не постигая, как это можно было всерьез называть их родину раем. Им казалось что я хотел над ними пошутить.

Победа или три указа Черчилля.

Однажды вечером Вилли принес в лагерь ошеломляющую новость, услышанную им в городе.

— Наконец-то, — торжественно заявил он, — объявлен мир!

— Значит возвращение?

— Конечно! Можно ли в этом сомневаться?

Надежда овладела всеми нами. Как ветер, раздувающий паруса в открытом

море, подхватила она все наши помыслы. И кажется, будто путь к возвращению лежит перед нами открытым. Вчера еще — беспросветное рабство, шахта, голод; сегодня — неожиданно нахлынувшие на нас воспоминания прошлого, ожившие с остротой пережитого будто еще совсем недавно. И, может быть, впервые за это долгое время начинаем мы вполголоса поверять друг другу имена тех, кого, вернувшись, надемся еще встретить.

Я неизменно отгонял от себя мысли о возвращении. Когда я сегодня вспоминаю об этом, мне кажется это проявлением слабости, страхом перед тоской по родине. Я убеждал себя в том, что должен пробыть в Советском Союзе не меньше четырех, пяти лет и пытался приспособиться к своему новому существованию, которое и жизнью-то назвать нельзя. Но в этот знаменательный день — утро дня победы — я не мог не сознавать того, что возможность возвращения откроется, быть может, и для меня. С сияющим от радости лицом я входил в этот день в мастерскую.

— Ну, ребята, дождались мы, наконец, победы! Объявлен мир, — обратился я к друзьям, весь во власти радостного волнения. Кто платит сегодня за водку?

— За водкой пойти ты можешь, а вот с миром дело обстоит иначе, — ответил Вася. В голосе его почувствовалось раздражение.

— Подожди! Я что-то не разберусь, Разве вы не знаете, что кончилась война, объявлен мир?

— Ты теперь скорее вернешься домой, это верно, но для нас-то начинается дисциплина мирного времени.

— Дисциплина мирного времени?

— Ну, да! Жизнь для нас станет еще тяжелее: пойдут новые пятилетки, аресты, лагеря, ссылки в Сибирь. Черт его знает, что еще будет!

Когда в полдень в «клубе» нашего цеха собрались рабочие — тема войны и мира снова сделалась предметом всеобщего обсуждения.

— Хотя сегодня не говорите о войне, — попросил я.

Старик-слесарь, за все время спора не произнесший и двух слов, вдруг заговорил:

— Ты, Руно, что-то слишком рано начинаешь радоваться. Видел ты, брат, много, много интересного поведаль и нам. Но я все ума не приложу: как это ты не умудрился понять того, что теперь на белом свете происходит.

— А ты объясни мне.

— Так вот примечай! Видишь ли, в мире всегда бывает так, что один человек оказывается сильнее других. Теперь вот получается, что человек этот, что всех других сильнее — Черчилль.

— Черчилль?

— Он самый! И об этом знает весь наш народ. Хочешь докажу тебе почему? Два года прошло, как Черчилль издал указ — ликвидировать Интернационал. Что же из этого вышло? Сталин подумал и — распустил Интернационал. С тех пор о нем больше ни слова, даже гимн прежний «Интернационал» — и тот запретили. Это еще не все! Слушай дальше. Прошло еще немного времени и Черчилль издает второй указ. «Откройте церкви», — приказал он Сталину, — и Сталин открыл церкви. Но вот Черчилль требует, чтобы народу жизнь свободную дали, крестьянам землю вернули. Этот третий указ Сталин отказался выполнять. Поэтому-то и произойдет следующая война. Вот тебе и конец сказу!

Вася и Коля часто просят меня рассказать о том, что видел я в далеком неведомом им мире. Я часто им говорю о Париже. Я говорю им о моих друзьях. Париж! В нем, этом городе мира, каж-

дый свободолюбивый человек чувствует биение созвучного сердца. В нем узнают мои русские друзья и свою столицу, обретут близких по духу людей, осознают гордое чувство свободы.

Меня поняли. На следующий день Коля удивил своей просьбой заниматься с ним французским языком. Мы начали с песен. Он был музыкален и дело быстро пошло на лад. Часто мы пели вдвоем. Первой нашей песней была Карманьола. В ней нравились нам ритм, задорная мелодия, привлекало настроение бичующего гнева. Ведь сами мы были очень не прочь вздернуть свое начальство! Каждый день требовал Коля от меня новых песен. Он полюбил французские мелодии настолько, что ему да-

же начали казаться однообразными русские песни, исполненные такой безграничной печалью и широтой.

Вася, не уставая, слушал мои рассказы о Париже. Он хотел узнать со всеми подробностями о том, что произошло бы с ним, если бы он в один прекрасный день вышел из поезда на восточном парижском вокзале. Мы предпринимали с ним длительные прогулки по Парижу. И должен признаться: он стал ориентироваться в парижских улицах ничуть не хуже меня. Однажды я сказал ему в шутку, что с первого же дня он мог сделаться превосходным парижским шофером. В этот момент я посмотрел на него и увидел затаенную радость, осветившую все его лицо.

Перевела Б. РОСТОВА

***** *

ВОСПОМИНАНИЯ

Арк. ГАЕВ

Дважды потерявший себя

То, что должно было рано или поздно случиться, произошло утром 14 апреля 1930 года. На московской станции скорой помощи раздался телефонный звонок и взволнованный женский голос сообщал, что поэт Владимир Маяковский опасно себя ранил.

Однако карету скорой помощи опередили. За минуту до приезда врача прибыли сотрудники НКВД. Среди комнаты на зеленом ковре, как на траве, лежало еще теплое тело поэта с браунингом в руке. Тут же находилась артистка Вероника Витольдовна Полонская, испуганная и растерянная. Несмотря на полную очевидность самоубийства, ее немедленно арестовали и освободили только после выяснения всех обстоятельств смерти Маяковского.

Но подробности, сообщенные Полонской (о них будет рассказано ниже), остались в секретных сейфах, печать опубликовала только предсмертную записку, объяснявшую самоубийство неудачным романом — «любовная лодка разбилась о быт».

Трагическая смерть поэта, имевшего (исключая Есенина) самую звонкую популярность в стране, вызвала множество толков, порою близких к истине, порою совершенно нелепых. Довольно трудно было объяснить почему человек, стоявший так прочно на земле, атлет физически и духом, темпераментный бунтарь и словесный забияка, мог вдруг пустить пулю в собственное сердце.

Обыватели сочинили и распространили версию о венерической болезни. Проститутки на Цветном бульваре и беспризорники на Трубной площади распевали новую песенку, являвшуюся своеобразной переделкой предсмертной записки:

«Товарищи-правительство,
Мне нет на свете жительство,
Податься уже больше некуда.
В столе лежат две тыщи,
Пусть фининспектор взыщет
И я в расчете с вами навсегда.»

В писательском цехе самоубийство Маяковского вызвало переполох. Вполголоса вспоминали свежие факты травли поэта, высказывали догадки, но определенных выводов не делали. Кто-то из критиков назвал Маяковского гигантом на глиняных ногах. Родилась фраза: «Русская поэзия началась двумя убийствами и завершилась двумя самоубийствами.»

Вообще же у покойного поэта было мало близких друзей. Гораздо больше — недоброжелателей. За гробом Маяковского шла многотысячная толпа, но хоронили его без слез. Так хоронят, погибших на посту, героев чужой армии. Или трагических влюбленных, чувства которых безразличны для толпы.

Несомненно, что разговоры о роковом романе имели достаточно оснований, но крушение любовной лодки было только поводом. Действительная причина лежала глубже и была сложнее.

Первая встреча произошла летом 1923 года и имела несколько курьезное начало. В Киевском литературном объединении стало известно о приезде Маяковского и решено было пригласить его на очередное воскресное собрание. С этой целью заведующий литературным клубом и я отправился в отель, в котором остановился Маяковский. Гостиницу осаждала толпа студентов и курсисток. Часть их находилась в вестибюле и на лестнице. Пришлось проталкиваться. В ответ на стук в дверь раздался

ся зычный, буквально протодыконский бас:

— Кто там?

Мой спутник захотел быть деликатным:

— Скажите, — спросил он, — дома ли товарищ Маяковский?

— Его нет и скоро не будет, — прогремел бас.

Разговор через закрытую дверь принимал неприятный оборот. Нужно действовать энергичнее.

— Владимир Владимирович, передайте, когда он придет, что были представители литературного объединения...

Тогда дверь широко распахнулась. Высокий человек в светло-сером костюме дружески улыбался и говорил уже другим тоном:

— Прошу извинить. Собрался обедать. Если желаете, отправимся вместе.

За столом он много говорил, интересовался мнением о своем журнале «Леф», рутал «Известия» и редактора их. Стеклова за «мещанологию», прихлебывал «Шато-Икем», уничтожал еду с аппетитом боксера-тяжеловеса.

На следующий день в десять утра он пришел в литературный клуб. Пришел свежий, сияющий, не похожий ни на один из своих снимков. В ту пору беспросветного однообразия одежды — сплошных гимнастеров, ксоровороток и толстовок — его европейский костюм, пестрый парижский жилет, яркий галстук и золотой перстень на пальце делали его пришельцем из какой-то иной, незнакомой страны.

Какое впечатление подкреплял желтый объемистый портфель, набитый свежими берлинскими изданиями стихов.

Читал он с упоением, подавляя слушателя силой голоса, умением владеть им и той небрежностью, с которой бросал неожиданные рифмы, необычные слова. Пожалуй, ни один из самых крупных артистов, читавших его стихи, не мог сравниться с ним. Поэт вкладывал в свои строки максимум темперамента и богатую гамму оттенков, придаваемых отдельным словам и фразам. В его чтении приобретали не только осязаемость, но даже настоящую необходимость все те ступеньки, обрывы и зигзаги, которые применял он в технике своего стиха.

Неудивительно, что один из критиков, присутствовавший на этом выступлении, охарактеризовал Маяковского тремя словами:

— Голосище. Плечища. Талантище.

Между прочим, этот критик совсем не принадлежал к числу поклонников поэта.

В тот период Маяковский был олицетворением озорной молодости, анархического задора и одновременно стопроцентной уверенности в правильности своего поэтического пути. Когда в конце выступления кто-то спросил почему он не прочел поэму «Облако в штанах», Маяковский нехотя отмахнулся:

— Это тема личная.

В тот же день вечером он играл в рулетку. Вокруг него собралась толпа. А он, возвышающийся на целую голову, стоял у стола и небрежно вынимал из кармана червонец за червонцем, которые неизменно переходили в руки крупье. Он не обращал внимания ни на стоимость проигрываемых ассигнаций, ни на окружавших его зевак. Это была демонстрация полного пренебрежения к материальным ценностям и к толпе.

Такое пренебрежение он демонстрировал в ту пору довольно часто. Иногда даже в форме, лишенной элементарного такта. Спустя несколько дней после выступления его в литературном клубе состоялся вечер в одном из театров. Маяковский пришел в назначенное время, но публика еще не заняла свои места, толпилась в фойе. Тогда он, не обращая на нее внимания, разлегся на стоящем у входа столе, предоставив возможность всем интересующимся рассматривать свой пестрый жилет.

Но было бы ошибочно думать, что подобное пренебрежение проявилось к массе, что между собой и народом Маяковский воздвигал стену надменного отношения. Нисколько. Чувство враждебной отчужденности у поэта вызывала именно толпа, как символ безличного обывателя, пустого ротодействия, стадного подхалимства, при котором сводится к нулю достоинство человеческой личности.

Лесть, подхалимство, подбострастие, заискивание Маяковский не выносил даже если они проявлялись в минимальных дозах.

В связи с этим вспоминается один эпизод, в котором мне пришлось быть свидетелем того, как был посрамлен Борис Розенцвейг, являющийся сегодня одним из ведущих сотрудников «Известий».

Произошло это летом 1924 года. Спустился по лестнице из редакции, я столкнулся носом к носу с только что приехавшим Маяковским. С первого взгляда было заметно, что он в прекрасном настроении, поздоровавшись, он не выпустил руку, потянул назад в редакцию, расстраивая о чем то на ходу. Так вошли в просторную комнату, где помещался отдел культуры и искусства... Сидевший в самом дальнем углу Розенцвейг, заметив почетного гостя, сорвался со стула и держа на весу руку с заискивающей улыбкой, поспешил навстречу. И тогда в один миг изменилось лицо Маяковского. Он вдруг помрачнел, насутился и резко повернулся спиной к Розенцвейгу, который так и застыл с протянутой, но не принятой рукой. Маяковский органически ненавидел подобострастие и ответил символической пощечиной на подобное приветствие, хотя Розенцвейг в то время был уже довольно заметным журналистом.

* * *

Когда он шел по улице, то обычно за ним следовала толпа, главным образом состоящая из учащейся молодежи. Так было в Киеве, Одессе, Ростове и многих других провинциальных городах. Вероятно, что это в какой то степени ему льстило. Потому, что ни разу с его стороны не было брошено ни одного резкого слова по адресу сопровождавших. А на резкие слова он был исключительно мастер. На его литературных вечерах почти всегда происходили словесные стычки, в которых последнее убийственное слово принадлежало ему. Вообще он умел мгновенно сразить противника или озадачить задающего вопрос. Когда его однажды на литературном вечере спросили:

— Почему вы носите кольцо на пальце?

Он моментально отпарировал:

— Потому, что я не дикарь, чтобы носить его в носу.

В другом случае, когда кто-то поинтересовался:

— Каков ваш взгляд на Илью Эренбурга?

Он ответил словно выстрелом из пистолета:

— Косой.

Порой его ответы были не по существу, но всегда остроумны и неожиданны.

В харьковском театре кто-то из слушателей задал ехидный вопрос о том, кого Маяковский считает лучшим поэтом — Тараса Шевченко или, входившего в то время в славу, Тычину. Но смутить Маяковского было невозможно. Он, словно заранее подготовленный к такому вопросу, молниеносно выстрелил:

— Я Тычины не читал, но Шевченко лучше.

В литературной среде ходили его острые словечки. Присутствовавшие на его выступлениях уносили с собой его хлесткие фразы, меткие ответы, иногда сносшибательные словесные удары. Так было (летом 1926 г.) в Ялте. В городском театре состоялся вечер поэта. Маяковский появился на сцене, посмотрел на публику и остановился, не произнеся ни слова. Молчание длилось две-три минуты. Наконец из рядов раздался чей-то голос:

— Товарищ Маяковский, когда же начнете?

— Я начну тогда, когда гражданин, сидящий во втором ряду партера, третье кресло слева, перестанет ковырять в носу.

Все это было озорство. Иногда более тонкое, иногда более грубое. Порой остроумное, порой недостаточно тактичное, но всегда утверждавшее большую жизненную силу. Это отражалось и в творчестве. Поэт в своих стихах щедро раздавал пощечины бюрократам, мешанам всех сословий, заплесневшим обывателям, нэпманам, политическим деятелям других стран и всем представителям других государственных систем... Он считал, что долг революционного поэта заключается в том, чтобы ратовать за все лозунги и мероприятия партии, насаждать коммунизм каждой строкой каждого стиха. К такому убеждению он пришел, не кривя душой, а совершенно искренне поверил в истину коммунистической догмы. И поверив, самолично произвел себе хирургическую операцию, удалив из своего поэтического нутра все то, что не отвечало поли-

тическим требованиям. Больше того — он несомненно считал, что нужно выкорчевать без остатка старое, разрушить его и через разрушение утверждать новую жизнь.

Настойчивые усилия не прошли бесследно. Маяковский «наступил на горло собственной песне», потерял в себе лирика, выковал из себя политического певца, хотя в партию не вошел, оставаясь в личной жизни свободным от политических программ.

Он даже заметно бравировал своей несколько особенной позицией. Любил подчеркнуть, что он беспартийный. И в этом упоминании сквозила между слов такая мысль:

— ... А делаю больше, чем любой партийный поэт. Делаю не по долгу, не за деньги, а честно, только по убеждению.

... Но все же настоящее человеческое нутро в большей или меньшей степени когда-нибудь да скажется.

Зимой 1924 года он снова был в Киеве. Пришел в редакцию утром. Читал из записной книжки только что набросанное стихотворение «Киев». Рассказал, что возникло оно во время прогулки по Владимирской горке. И вдруг добавил:

— Сегодня смотрел на снег и елки глазами Надсона.

В этот же приезд имел место один совсем ничтожный, но характерный эпизод. В газетном издательстве «Пролетарская Правда» выплачивали гонорар. У кассы стояло несколько сотрудников и среди них Маяковский. И в то же время к кассирше прилипла какая-то крестьянка, рассказывающая о своей беде — у нее украли деньги и документы, нет ни копейки на билет. Кассирша от нее отмахивалась, крестьянка не отставала. И тогда Маяковский, получив гонорар, молча передвинул всю причитающуюся ему сумму оторопевшей бабе и ушел, не желая слушать благодарствий.

В другой приезд его произошел казус иного порядка. Это было после возвращения Маяковского из Америки. В театре на своем литературном вечере он рассказывал о том, что ему удалось в Нью-Йорке собрать двухтысячную аудиторию и что до конца его выступления ни один из посетителей не ушел. За-

кончил он нарочито-хвастливой фразой:

— Вообще, когда приходят на мои вечера, то сидят уж до конца.

Но через несколько минут из рядов партера вышла одна дама и направилась к выходу.

Маяковскому сейчас же крикнули:

— Видите, дама уходит.

— Значит эта дама из ряда вон выходящая, — бросил он.

Но уходившая остановилась:

— Я иду кормить ребенка, — сказала она и скрылась за дверь.

Маяковский решил во что бы то ни стало найти ее. Потратил несколько дней, пока узнал адрес. А узнав, пришел, извинился и только тогда уехал из Киева.

Во многих случаях словесная драчливость, как и исключительная полемическая обороноспособность Маяковского, были необходимы. На протяжении ряда лет ему приходилось выдерживать литературные бои со многими противниками. Несмотря на почетное место, отведенное ему на страницах центральных газет, несмотря на то, что он был признанным самым ярким представителем супрематизма, нападки сопровождали его всю жизнь. В него бросали камни все, начиная от литературных верховодов до микроскопических рецензентов. На всесоюзный съезд писателей, состоявшийся в январе 1925 года, Маяковскому был дан только пригласительный билет. Однако он пришел. Молча слушал доклады. Но на четвертый или пятый день съезда разыгрался скандал. Выступавший, как представитель ЦК Партии Лев Сосновский, говоря о всевозможных литературных уклонах, хотя и не назвал имени, но бросил фразу, явно направленную по адресу Маяковского:

— Есть у нас и такие поэты, которые вместо «рыдания матери» пишут «рыд матерный».

Маяковский во время речи ходил в кулуарах, курил папиросу за папиросой. Когда Сосновский закончил, он вышел на сцену, где сидел президиум съезда:

— Прошу слова!

Но председательствующий в тот день Демьян Бедный, отказал:

— Вы не делегат съезда.

— Тогда я спрошу съезд желает-ли он меня выслушать.

По залу заседания прокатилось гул — «желаем», и Бедному Демьяну пришлось уступить. Своим правом Маяковский воспользовался в полной мере. Попало от него и Сосновскому и руководителям печати. Закончил свое выступление он так:

— Я не знаю насколько понятен или непонятен «рыд матерный», но приведу вам строки поэта, который имеет патент пролетарского.

И он процитировал сплошь «мифологическую» строфу Демьяна Бедного. Генерал от литературы и — в ту пору — единственный кремлевский поэт рассвирепел:

— Эту шантрапу надо гнать отсюда, — заорал он, уже не выбирая выражений...

Маяковскому пришлось оставить зал заседаний.

В данном скандальном эпизоде отношение к Маяковскому вылилось полностью. Для партии, для ведущего слоя советского общества и даже для своих собратьев-литераторов он был чужим.

Припоминается одна встреча, после которой представление о Маяковском стало несколько иным, чем раньше. Это было вскоре после съезда, в конце января.

Возвращаясь на свою квартиру, на Чистые пруды, я свернул на Кузнецкий мост. Было за полночь, прохожие встречались редко. Но на Кузнецком мосту еще издали я увидел чью-то фигуру, стоявшую у витрины центрального магазина Госиздата. Фигура наклонялась, видимо выискивая в заузоренном морозом стекле такие места, через которые можно было лучше разглядеть выставленные книги. Естественно, что человек интересующийся в час ночи, да еще при тридцатиградусном морозе книжной витриной, привлек внимание. Минутой позже я уже узнал его. На мое приветствие он ответил даже обрадованно:

— Вам куда? Пойдем вместе.

Пошли по направлению к Садово-

Кудринской. Он шагал высокий в шапке-кубанке и черном пальто и с особой охотой говорил, бросал едкие фразы.

— Кто самый лучший поэт теперь? Конечно, Семен Родов. Ему ведь наибольший почет.

О себе упомянул с усмешкой:

— Пока кричу — слушают. А замолчу — спрашивают: «Это тот Маяковский, что написал „Яблоко в штанах“?»

Только спустя некоторое время я понял почему он вдруг обрадовался случайному собеседнику, стоявшему на несколько литературных рангов ниже его, почему предложил потом пройти вместе до Цветного бульвара, а оттуда до Страстного. И почти без паузы говорил. При чем суть не в том о чем говорил, а как — с особой задушевностью, с дружеской доверчивостью.

После этой ночной прогулки мне показалось, что несмотря на тысячи знакомых и на толпы почитателей, он был одинок. И может быть наибольшая трагедия заключалась в том, что та среда, для которой он развернул свое поэтическое знание, считали его чужаком. Он славословил пролетариат, а пролетарские поэты называли его творчество «буржуазным кривлянием». Недаром в своем послании к пролетарским поэтам он с едкой обидой сказал:

«Мы, мол, единственные,

Мы — пролетарские,

... А я по вашему что — валютчик?»

Чаще всего его можно было встретить в редакции «Комсомольская Правда». Он питал симпатии к редактору этой газеты Тарасу Кострову и похоже было на то, что предпочитал общество безусых. А молодежь с утра до полночи толкалась в этой редакции. В просторной пятиугольной комнате, где помещался литературный отдел, спорили, читали стихи, писали экспромты, рассказывали анекдоты. Маяковский иногда молча проходил в дальний угл, правил сдаваемые в номер свои стихи. Иногда бросал резкую реплику.

Однажды, когда Михаил Голодный и Александр Жаров начали взаимно расхваливать стихи друг друга, он со злостью хватил тростью по столу:

— Черт побери, кто ж из вас петух, а кто кукушка?

Впрочем, в эти годы его многое злило. Может быть больше всего засилье нового мещанства. Мещанства советской формации, прикрывающего свое убожество партийным билетом, изучившее до тонкости партийно-лакейский тон, умеющего льстить, приспособляться, делать карьеру, строить свое воробыиное благополучие.

Маяковский всегда был непримиримым врагом мещанства, смертельно ненавидел его, но мещанство теперь одолевало. Причем это мещанство выросло на той почве, которую он поливал, в том дворе, где он был «ассенизатором и водовозом».

Мещанин аплодировал ему в театре, но на улице говорил о поэте, как о цирковом клоуне. В газетах и журналах время от времени появлялись критические статьи, в которых называли Маяковского «желтой кофтой», вспоминали ему ранние выверты, утверждали, что он ничего общего не имеет с революционной литературой.

В 1928 году известный критик Тальников разразился огромной статьей, смысл которой заключался в том, что Маяковский напрасно ездил по свету, ничего, мол, от этого читатель не получил. И хотя такое утверждение не отвечало действительности, так как в результате поездок, Маяковский дал целый цикл стихов об Америке, Франции, Германии и других странах, но Тальникову дали полное право обляять поэта.

Только молодежь увлекалась им, многие молодые поэты подражали ему. В Одессе, например, литературный молодец создал даже такую группу, которая именовалась «ЮГОЛЕФ». Но собратья по перу постарше и ровесники Маяковского в своих выступлениях, не говоря уже о частных беседах, отзывались о нем крайне недружелюбно. Такие от-

зывы высказывались даже теми, кто признавал за ним дарование. Даже Есенин, который несмотря на свое озорство, был довольно деликатным по отношению к литературным собратьям, сказал о Маяковском, хоть и с уважением, но все же нелестно:

— Как хотите, но Маяковский ляжет в русской литературе бревном и многие будут об это бревно спотыкаться.

Вспоминается, между прочим, «обмен любезностями» между Маяковским и руководящим критиком Вячеславом Полонским на одном из публичных вечеров в Доме печати.

Маяковский бросил фразу:

— Нужно освободить литературу от операций ветеринарных врачей, — намекая этим на Полонского, который был ветеринаром по образованию.

— Литература больна и ее надо лечить, а таким как Маяковский нужны именно ветеринарные врачи, — ответил Полонский под аплодисменты всего зала.

За два месяца до смерти его освистали на выступлении в Ленинградской Военной Академии. Когда же он не удержался и назвал курсантов «юнкерским отродьем», от него потребовали публичного извинения.

В какой-то степени это была трагедия Хаджи-Мурата, пришедшего в чужой штаб с открытым сердцем, с неукротимой жаждой борьбы и увидевшего, что ему не доверяют и не забывают прежних ошибок. Пятнадцать лет проведенных на передовой линии литературного огня, не давали ему даже права на получение делегатского билета на съезд писателей. «Сто томов» партийных книжек в глазах новых вельмож и ихней челяди были ничем в сравнении с партийным билетом. Поэт мог орать с крыши ГУМ-а стихи в ответ на ноту Керзона, электризуя многотысячную толпу демонстрантов на Красной Площади, но ему не давали слова на трибуне съезда. Даже не пускали туда.

Каста партийного, зажившего мещанства смотрела на него свысока. Маяковский был для них беспартийным поэтом, у которого в прошлом имелись вывихи, резкие проявления индивидуальности.

Конечно, он был чужим в этом мире беспросветного, узаконенного системой мещанства.

И это было уже слишком — вторично потерять себя...

* * *

Предсмертная записка была написана за два дня до самоубийства, утром 12 апреля. Поводом послужил разговор, из которого было ясно, что любимая женщина выходит замуж за советского веломою, руководителя наркомата.

Написав записку Маяковский ушел из дому и неизвестно где пробыл двое суток. За это время Полонская несколько раз набирала номер его телефона, но ответа не было. И только утром 14 апреля он отозвался, сказал, что только вернулся домой. Возможно, что желание Полонской посетить его, он понял, как изменение решения. Но при встрече уже с первых слов догадался, что его хотят просто утешить. Тогда разговор быстро оборвался и гостя ушла. А через полминуты, когда она подходила к выходной двери, раздался выстрел, заставивший ее вернуться. Но уже было поздно — пуля попала точно в сердце. И причина тому, пожалуй, была не ошибка в чувстве девушки, а ошибка в жизненном пути. Не обман сердца, а обман разума.

***** * *****

Из прошлого

Многое забылось. Но многое запечатлевалось с кристальной ясностью. 1925 год... Город на крутом волжском берегу... Литературные «четверги», на которые собирались «настоящие» поэты и писатели, около-стоящие и мы — публика не пишущая, или пишущая, но прячущая свои творения под подушкой. Вот одно из них:

«Под окошком — тополь стройный,
Ветки-руки опустил,
В ночку летнюю гулену
С милым другом приютил.
Показался край юбенки
Зорьки — девки молодой.
Всколыхнулся тополь тонкий,
Шелестя своей листвою.
Поняла гулена с парнем,
Что де утро, мол, пора —
Уж зарделася румяна
Девка, красная заря».

Теперь, спустя четверть века, эти рифмованные строки выглядят по иному, точно также, как выглядят давнее, пожелтевшее от времени письмо, в котором были высказаны первые сердечные чувства. В них видишь, ранее не ощущаемую юношескую наивность и — одновременно угадываешь те незримые соки, которыми питалось молодое вдохновение.

«Четверги» всегда битком набиты. Я, конечно, влюблен в поэтессу. Она молодая девушка-мордовка, глаза с косинкой — финские, пишет чудные стихи. Тогда они звенели у меня в ушах, но время выветрило их из памяти.

В умах, сердцах и душах, особенно молодежи, царит Сергей Есенин. В те годы поднятая, разбуженная революцией деревенская Русь, с холщевыми мешками за спиной, с самодельными сундуками, запертыми неизменными височными замками, двигалась в город.

Преодолев сугробы, непогоду, голод и неучтивость горожан, мы молодые,

крепко сложенные, заполняли сначала канцелярии, а затем и аудитории университетов, институтов, техникумов.

Хотя извилины мозга у рабочих, согласно учения Маркса, и были восприимчивей и глубже чем у крестьян, но все-же мы представителей пролетариата побеждали — нас было больше.

Мы жадно бросились на науку. Мы втискивались в этот храм, нажимая крестьянским сильным плечом. Но мы были и просто люди. Нам хотелось обычной жизни — любви, печалей, радостей, стихов. И вот один из нас запел. Это был ЕСЕНИН. Каждое стихотворение, каждая строфа, каждое слово — было его, наше, мое. Каждый из нас был ЕСЕНИН.

Вот почему так велика была популярность поэта. Мы несли его имя, поднимали ввысь и заражали даже тех, кто не особенно тяготел к нему.

«Старое» отвергалось, во всем критиковалось или иронизировалось. «Будущее» витало в каких-то великих замыслах «нового мира».

Но надо было жить, надо было осязать свое, сегодняшнее — такова природа человека. И поэзия Есенина стала этим **сегодняшним**. И в городе, в наполненном деревней, и в самой деревне. Ее подняло на щит большинство, к нему примкнула и часть меньшинства, ибо у него иного пути не было.

«Я посетил знакомые места —

Ту сельщину, где жил мальчишкой,
Где каланчей с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста».

Это относилось к жизни тысяч, миллионов.

Это относилось и ко мне.

Декабрьский вечер.

Влетев с мороза в небольшой, заполненный людьми зал, я не сразу понял происходившее. Публика сидела тихо и

молча. Впереди, откуда обычно читались произведения, положив руки и голову на стол, плакала поэтесса-мордовка. Окружавшие ее утешали, гладили по голове.

Плакала Русь.

Было получено известие о смерти Сергея Есенина.

Декабрь 1926 или 1927 года. Москва. МХАТ. Вечер, посвященный дню смерти Есенина. Билеты все распроданы. За сумасшедшие деньги я приобрел у перекупщика—спекулянта 1-ый ряд партера справа, 2-ое место.

Задолго до начала зал уже полон. Справа от меня — девушка в очках: нервно теребит то платок, то платье, то поправляет очки. Для меня нет зала — я его не разглядывал, я не помню его, я только его чувствовал. Теперь мне кажется, что там не было людей — там было нечто целое, большое и напряженное. Мне смутно помнится реакции — они были какими-то глухими и внезапно обрывающимися.

Занавес поднялся.

В мою руку на подлокотнике кто-то вцепился. Но я — там, на сцене. Она пуста. На ней лишь стол, накрытый чем то красным. Постепенно появляются человек десять-двадцать.

Сестра Есенина. Хочется найти в ней что-нибудь деревенское. Но она — ни городская, ни деревенская, — смешанная. Говорит нескладно и тихо. Это — та, Александра Есенина, которой так много стихов посвятил брат.

Оба какие-то одинаковые — Анатолий Мариенгоф и Вадим Шершеневич. Оба — не наши, в заграничных пиджаках. Именно в пиджаках — другое не выделяется, не такое цветное: разве только галстухи.

Выступление Мариенгофа колет своею неискренностью — то ли он слишком городской, то ли фатоват. Не грустный, развязный. На сердце — протест. Маленький, без единого волоса на черепе, с громадными темными очками на бледном лице, выходит на авансцену Андрей Белый. Темный костюм. Он говорит, протянутая его рука трясется и дрожит. И сам он весь трясется от старости и от волнения.

Еще запечатлелся Качалов. И сам он грузный и большой, его удивительное чтение такого знакомого, такого известного.

— «Вот, — говорит он, — у нас есть обычай; когда уезжают за границу, берут с собой горсть родной земли. Я тоже исполняю этот обычай, но беру с собой, вместо горсти земли, томик стихов Сергея Есенина.»

Около 12 часов ночи занавес опускается. Зал — это единое, многоголовое существо — долго то бурно, то глухо ропщет, как бы жалуясь на что-то. Я, живший своим, почти механически помог одеться и выйти заплакавшей все свои силы соседке-девушке.

При выходе я узнал, что приезжал конный отряд милиции разгонять толпы безбилетных, штурмовавших вход в театр.

***** *

Борис Пильняк

Признание творчества Пильняка было одним из больших смертных грехов, в каких обвинялся А. К. Воронский, давший еще в 1922 году смелую и положительную оценку этому автору.

Пильняк считался чистопробным «попутчиком», чужаком для революции, мастером слова, стоявшим в стороне от революционной героики, Фомой-неверным по отношению к тем социальным идеям и планам, которые осуществлялись партией. Официальная критика утверждала, что Пильняк воспринял новых людей только по внешним признакам, заметил только кожаные куртки, которые носили большевики и не попытался расстергнуть эти куртки, чтобы показать сердце и душу обладателей их.

В то время, правда, писателю еще не инкриминировали его происхождения (Пильняк из немцев Псковской губернии, настоящая фамилия его Вогау). В то время закрывали глаза на его европеизм, к которому тогда не был приклеен черный ярлык с надписью: «Осторожно-космополит»!

Именно как европеец — и не только внешне — вспоминается Б. А. Пильняк еще по 1923 году. Тогда он только что вернулся из Лондона, побывав до того в Германии, Франции, Италии, прогостив несколько недель у Горького на Капри. Высокий стройный, белокурый, в изящном европейском сером костюме, в огромных роговых очках, подобранных под цвет шелелюры. На своем выступлении в редакции он прочел только небольшой отрывок из романа. Но очень много рассказывал. Говорил с увлечением о Берлине, о городах Италии и Франции, о путешествии по Европе. Помнится, что чуть ли не десять

минут он рассказывал о случайной встрече с вдовствующей царицей Марией Федоровной, останавливаясь главным образом на том, что она в семьдесят лет выглядела семнадцатилетней девушкой.

— В Европе умеют старость так разукрасить, что о возрасте трудно иметь представление, — между прочим сказал он.

Несомненно, что Европа произвела на Пильняка большое впечатление. Думается еще, что оно не ограничилось чисто внешними признаками, а заключало в себе восприятие индивидуальной свободы, возможности исполнения своих желаний. Это доказывалось его обстоятельным рассказом о свободных нравах парижан, об условиях полных независимостей, в которых находились русские эмигранты в Париже, Берлине и других городах. Говоря о них, он обрисовывал обстановку и жизнь этих людей довольно соблазнительно. Соблазнительность эта возрастала еще от того, что в России в то время только лишь закончился период гражданской войны, все было полуразрушено, не налажено, убого.

Вообще же независимость была одной из характерных черт этого писателя. К революции он подходил с своей личной меркой. Огромный сдвиг, происшедший в стране, он талантливо преломил через каких-то свихнувшихся бесцельно доживающих свою жизнь помещиков, купцов и других чуждых революции персонажей.

В то время Пильняк был одной из основных фигур содружества «Серапионовы братья». Вся эта группа считалась «попутнической». И самым большим «попутчиком» был Пильняк. Однако, с

его мастерством считались. Печатали в «Красной Нови» и «Новом Мире». Но на страницы официальных газет Пильняк не был вхож. Во время приезда его в Москву его нельзя было встретить ни в одной из редакций газет. Он даже не посещал знаменитую «Прагу», где собиралась литературная молодежь. Почти не бывал он и в доме писателей на Никитском бульваре.

Главным образом свою независимость Борис Пильняк проявлял в творчестве. И надо отдать ему справедливость, что умел вылавливать из советской действительности крайне острые темы. Прошло не больше полугода после смерти Фрунзе как появилась «Повесть о непогашенной луне» — произведение, в основу которого была положена трагическая история смерти наркома. В повести не было имен, но все было до предела прозрачно. Фрунзе назывался командармом, Сталин — несгибаемым человеком. С большой творческой проницательностью Пильняк подал жуткий эпизод, когда «несгибаемый человек» приказал командарму в порядке партийной дисциплины лечь под нож хирурга. История этой повести довольно интересна. Произведение было передано Воронскому, который сразу же решил поместить его в очередном номере «Нового Мира». Но перед тем предложил автору сделать так, чтобы повесть выглядела не как описание смерти Фрунзе. Пильняк сделал. Перед повестью дал авторское предисловие примерно следующего содержания: пусть, мол, читатель не думает, что речь идет о Фрунзе, автор написал повесть, независимо от подробностей данного события.

Другими словами, для самого недоброжелательного читателя расшифровывался истинный сюжет. Журнал уже был разослан, когда в Кремле заметили повесть. Тогда вслед за журналом полетело распоряжение — изъять все номера и вырезать оттуда повесть, которой откровенно кривалась книжка.

Разумеется, что произведение в равной мере запомнили и читатели, и тот, кто был изображен в повести. Но автор пока что был не тронут. Он уехал в Японию, оттуда в Америку, исколесил новый свет и вернулся с романом «О-кей».

Вернулся бодрый, уверенный в себе, независимость светилась в нем так же, как и после приезда из Лондона. В одной литературной среде, где пришлось встретиться с Пильняком, его просили рассказать об американских впечатлениях. Он так же смело, как и раньше, и так же соблазнительно рисовал картины другого мира. Рассказывал об удобствах жизни, о богатстве, о полной личной свободе и других особенностях, несвойственных советской системе.

Второе произведение, обратившее на себя внимание Кремля, был роман «Красное дерево»^{*)}. Этому произведению уже не суждено было проникнуть через цензурную решетку. В Советском Союзе оно полностью не было напечатано. Но зато книга вышла без изменений и сокращений в Берлине. Конечно, из этого были сделаны очень основательные выводы. С Пильняком были крепкие разговоры. Лубянка установила надзор. Писатель уже был под постоянным наблюдением, и где-то в секретных кабинетах уже решалась его судьба.

По этой ли или по другой причине, но темы, которые появлялись из-под его пера, перестали быть острыми. Материалом новых произведений стали интересные, но совершенно сторонние объекты. Так появилось «Мясо» — многостраничный очерк, в котором со всей силой пильняковского стиля подробно было описано, как в разное время и в разных странах люди ели мясо. В то же время им написан живой, красочный рассказ о мастерах Палехи. Прав-

^{*)} Отрывки из третьей главы этого романа напечатаны в отделе «Голоса погибших».

да, и тут Пильняк остался верен себе. Он изобразил этих мастеров не столько подвижниками искусства, сколько простыми людьми, которые удирают от жен в лес, чтобы распить бутылку водки, болтают пустяки и только иногда ретиво берутся за работу.

В последнее время Пильняк почти не выступал на литературных вечерах. Правда, он не был особенно большим любителем деятельности этого рода. Но, с другой стороны, ему и не давали такой возможности. В эти годы на доклады и литературные вечера приглашали поэтов и писателей, только рекомендованных, имевших стопроцентную

политическую благонадежность.

Очевидно, для Пильняка был определен известный срок. К моменту его ареста он не совершил никакого заметного ложного шага. Просто однажды ночью к нему явились и увезли. Писатель, имевший большую известность на протяжении 17 лет, в одну ночь исчез совершенно бесследно. Книги его были изъяты из библиотек, в Союзе Писателей вычеркнули его из списка, в газетах имя его больше не упоминалось, а жизнь кончилась, вероятно, от пули, пущеной в затылок, или от холода и голода в одном из сибирских лагерей.

***** * *****

Дмитро Фалькивский

У него была исключительно милая, даже чарующая улыбка. Ровно за неделю до своего трагического конца он зашел в редакцию, обдарил всех улыбкой, показал, приобретенный у букиниста, томик стихов Гумилева и ушел, сказав свое обычное «До завтра!»

Такая форма прощального приветствия была совершенно естественной: Фалькивский навещал «Пролетарскую Правду» ежедневно, так как проживал в близком соседстве — редакция в 19, а он в 23 номере по той же Фундукле-вской улице.

Однако на следующий день его в редакции не видели. К вечеру же в отдел внутренней информации поступило скучное, но преломляющее сообщение о том, что в Киеве выявлена террористическая организация, в состав которой входили украинские литераторы и артисты. В списке арестованных вторым по счету стояло имя поэта Дмитра Фалькивского. И, вероятно, многим, знавшим его, в первую минуту после такого сообщения вспомнилась мягкая, совершенно детская улыбка этого лирика. Впрочем, не одни только внешние признаки вызывали глубочайшее сомнение в «преступной деятельности» поэта Фалькивского. Все его прошлое также не давало повода предполагать, что он способен взять в руки вместо пера бомбу или пистолет.

Родился он в кобринском уезде на Полесье, в простой крестьянской семье, жившей не бедно, но и не богато и ничего не потерявшей в годы революционного бурана. Благодаря помощи родственников, поэт имел возможность получить гимназическое образование и вышел из стен учебного заведения кристальным идеалистом, мечтающим о свободе, добре и правде, написанными с большой буквы.

Именно тогда его увлекла революци-

онная романтика. Увлекла целиком, до самопожертвования, до жажды подвига. Принимая участие в работе комсомольской организации, он был полон иллюзий, юношеского задора и желания отдать все свои силы на служение коммунистической идее.

Энтузиазм юноши был умело использован. Однажды по специальной командировке он был направлен в губернский отдел ГПУ. Там сначала проверили его знания иностранных языков (Фалькивский в совершенстве владел французским, немецким и польским языками), затем перебрали через польскую границу, приказав вернуться через две недели со сведениями о настроениях, о жизни за рубежом.

Но несмотря на всю готовность служить «социалистическому государству», Фалькивскому крайне не по душе пришлись такие задания. После вторичной отправки за кордон, он категорически отказался от подобных поручений, предложив использовать себя на иной работе. К этому времени он уже несколько раз печатал свои стихи, несомненно, поэтическое его нутро особенно протестовало против чекистских заданий. Тем более, что он был чистым лириком, находившим мягкие, акварельные тона как для пейзажей, так и для движений человеческой души. Решительный отказ его от сотрудничества в осведомительном отделе был первым «грехом», который запомнили и записали.

Чем дальше, тем настойчивей литература звала молодого поэта к себе. Дарование его крепло, поэзия властвовала в сердце и в мыслях. Одновременно с этим происходит отход Фалькивского от политических организаций и наконец наступает полный разрыв с ними.

Это был уже второй «грех», в связи с которым поэт был отнесен к категории неблагонадежных. На него заведе-

но «дело», за ним установлен надзор.

Это были 1930-1931 годы, когда большевистская система принимала все более жесткие и жестокие формы. В это же время начался поход против поборников национальной культуры, началась полоса удушения национального духа.

Едва-ли сам Фалькивский имел полное представление о тех тучах, которые собирались над его головой. Беспечным и улыбочивым ходил он по киевским улицам. Попрежнему он был приветлив, словоохотлив. Пусть пошаливают легкие, пусть редакции не принимают его стихи, и материальные дела не блестящи, но в жизни все же много чудесного. По какому-то внутреннему поэтическому родству у него в этот период появилось тяготение к таким поэтам, как Н. Гумилев и С. Есенин. Он любил декламировать их стихи, собирал их книги, которые в то время уже нельзя было достать в государственных магазинах. Совершенно по-детски радовался он полученной каким-то путем из Парижа тетрадке, с неопубликованными стихами Гумилева.

Официальная критика приписала его к лагерю упадочников и тем самым лишила возможности появляться на страницах центральных украинских газет. Он вынужден довольствоваться случайной корректурой или технической редакционной работой.

Правда, и в разговоре и в стихах Фалькивского все чаще звучали минорные ноты. От прежних иллюзий не осталось и следа. Юношеские мечтания

и надежды были вышиблены действительностью. Порой у него вырывались резкие слова по адресу правящих. Да и трудно было сдерживать протест, когда по улицам столицы ходили голодные крестьяне, когда вымирали половины сел. Незабываемый 1933 год вызвал бунт в душе поэта, умевшего так мягко улыбаться. Он почти забросил писать стихи. А если иногда и писал, то не давал в редакции газет и журналов.

«Упадочное» настроение явилось третьим «грехом» поэта. И когда после убийства Кирова по стране прокатилась волна правительственного террора, то НКВД Украины внесло имя Фалькивского в список жертв. Через шесть дней после сообщения об аресте было опубликовано, что все обвиненные в участии в террористической организации приговорены к расстрелу и приговор приведен в исполнение.

Прокуратура НКВД видимо торопилась, боялась, как бы ее не опередили чекисты других республик и казнила без следствия и, конечно, без суда.

Но похоже на то, что даже у палачей после казни все же дрогнула рука. Через несколько дней после расстрела вызвали в НКВД жену Фалькивского и очень учтиво объявили, что их орган берет на себя заботу о ней — оставляет за семьей поэта прежнюю квартиру и даже может предложить вдове работу, если она в ней нуждается.

Но Дмитра Фалькивского не стало, человек с мягкой улыбкой перестал существовать. Его постигла та же судьба, что и любимого им Николая Гумилева.

***** * *****

Галимзян Ибрагимов

Свою литературную деятельность Галимзян Ибрагимов (1887-1939) начал вскоре после событий 1905 г., когда татарская литература впервые получила некоторую свободу. Судя по одним лишь названиям его произведений («Люди», «Казахская девушка», Дети природы» и др.) можно безошибочно определить их характер, а именно — показ жизни народа. И действительно, Ибрагимов отразил в своих произведениях главным образом жизнь деревни, думы, переживания и стремления крестьянина.

В своем первом рассказе «Изгнание семинариста Закия из школы» писатель увлекательно описывает жизнь учащихся в татарской школе, их борьбу против устарелых порядков, стремление к освоению европейской культуры. В романе «Наши дни» отражены революционные события 1905 года, жизнь и борьба татарской интеллигенции в годы наступившей затем реакции. Сам автор принадлежал к партии эсеров и, естественно, что он в романе отразил свое отрицательное отношение к марксизму. Это произведение как олицетворение жизни и борьбы различных политических течений среди татар в прошлом, имеет несомненное историческое значение.

Ценным историческим произведением является также повесть «Красные цветочки» (1922 г.), в которых описаны гражданская война и борьба татаро-башкирского народа против большевизма. В них отражены события татарского народного восстания против большевизма, так называемого, «восстания вилочников» в 1920 году.

В «Глубоких корнях» описана классовая борьба в деревне. Тут автор правдиво и очень тонко разоблачает анти-

народную деятельность большевиков, губительные последствия разжигаемой классовой борьбы и колхозно-совхозного строительства.

Помимо художественных произведений Г. Ибрагимов написал ряд ученых трудов: «Вопросы языка и литературы», «Пролетарская литература» и пр. В этих работах он отстаивал необходимость изучения духовной культуры народа.

Кроме того Г. Ибрагимов, как общественный и политический деятель, вел борьбу против зажима татарской и вообще тюркской культуры. Например, на конгрессах тюркологов, состоявшихся в 1926 г. в Баку и в 1927 г. в Ташкенте, татарская делегация во главе с Г. Ибрагимовым выступила против попытки Москвы навязать тюркским народам Советского Союза латинский алфавит вместо арабского. К татарской делегации присоединились казахи и киргизы. В результате, попытка Кремля была отбита. При активном участии Г. Ибрагимова, татарская интеллигенция выпустила, так называемое воззвание 82-х, призывавшее тюрко-татарские народы не принимать латинский алфавит.

Конечно, роль Ибрагимова не была забыта. Начиная с 1929 года, по директиве из Москвы, началась травля писателя. Живя, в связи с болезнью в Крыму, он все время находился под надзором НКВД.

В 1937 году, наконец, Г. Ибрагимов был арестован и заключен в казанскую тюрьму, где он в 1939 году и умер.

Естественно может возникнуть вопрос — как большевики могли 20 лет терпеть деятельность Г. Ибрагимова, открыто боровшегося против советского режима? Это объясняется, во-первых, тем,

что он жил и творил среди татар, которые (в том числе и татарские коммунисты) национальные интересы ставят выше партийно-идеологических, и они брали Ибрагимова под свою защиту. Во-вторых, Политбюро тогда еще не решалось так беззастенчиво расправляться с представителями татарской интеллигенции, зная, что, в противном случае, оно приобретет много открытых врагов среди восточных народов.

Обвинение, выдвинутое большевиками против Г. Ибрагимова, сводилось к следующему:

1) что он в своем романе «Молодые сердца» идеализировал деревенскую жизнь и поощрял религиозные чувства народа;

2) что в романе «Наши дни» он сознательно искажал роль большевиков в революции 1905 года, преуменьшая их борьбу против царского режима.

3) что он в своих произведениях призывал к сохранению старой культуры татарского народа и выставил как прогрессивную силу татарских либералов девятнадцатого века;

4) что он симпатизировал Султангалиеву, организатору и руководителю освободительного восстания тюркских народов.

Все это совокупно было поставлено в вину Ибрагимову и его связи на расправу, конфисковав все то, что было создано писателем на протяжении тридцати лет.

..... *

Великое искушение

Есть голоса, которые не могут остаться без отклика. Есть мысли, неизбежно вызывающие ответный ход суждений.

К таким принадлежит голос польского поэта Ч. Милоша, издавшего в Париже интересную брошюру под очень удачным и эмоциональным названием «Великое искушение» (*«La grande Tentation»*).

В ней в равной мере заслуживают внимания и поставленная проблема и предмет, подлежащий рассмотрению.

Океан истории часто меняет свой лик, но всегда на водах, дышащих тайной, роятся челны и суда. Одинокие и целые флотилии. Ловцы выходят в море и беспрерывно опускают сети. А на суше кипит потом работа. И любители и ловцы профессионалы в одиночестве или содружестве препарируют добытый улов. Каждый увлечен ролью добывателя, каждая группа рыбаков в океане истории работает по своему методу. Тем более, что добыча пассивна и позволяет делать с собой все, что пожелают ее препараты. Ловцы модулируют полученный материал как хотят, доказывая беспорность своих постулатов. Там, где ловы наставлены на определенные объекты, создается философская система. Там, где ловят без выбора, индуктивным путем рождаются исторические теории. Метод амприорный смешивается с эмпиричным.

В ряд неисчислимых попыток человеческого мозга справиться с проблемой истории так же входит философская система материалистического хода событий. Исторический материализм с рационалистическим бесстрашием и трезвостью примеряет к воротам истории свой ключ и распахивает их настежь, открывая ровную, узкую дорогу понимания истории. На транспаранте над

этими воротами лапидарная надпись: бытие определяет сознание.

Всевозможных слухов на тему красного востока за границей больше чем достаточно. Часто слышим вздохи облегчения по поводу бегства отдельных групп из за железного занавеса. Истории гнетущего кошмара переполняют наши уши. Многократно осуждено неприкрытое зло. Но среди резких подходов к явлениям, происходящим на востоке, сравнительно редко можно найти мнение направленное к холодной и абсолютной объективной оценке действительного состояния вещей. Кроме слабой пробы Лиона Фейхтвангера («Москва 1937 года») и несколько поверхностного дневника Андре Жида на публичной арене не было слышно голоса, который бы позитивным проявлением, выловленным в большевистской системе, квалифицировал бы в окончательном результате скрытую силу, действующую привлекательно на объекты принимающие ее с верой.

В этом смысле и приобретает собственное значение мысль и суждение Чеслава Милоша.

Автор — ведущий поэт группы «певцов катастрофы». Он отсек себя недавно от Польши и, очутившись после радикального хирургического жеста в Париже, выступил с оригинальной оценкой условий за железным занавесом. Эти условия ему хорошо известны. На общем фоне сталинской системы, привитой на территории Польши, Милош как интеллигентный занимается напряженной характеристикой ситуации именно своей группы. Он касается ситуации интеллигенции и даже не всей, а сравнительно узкого круга — интеллигенции творческой. В эту группу входят литерато-

ры, поэты, артисты, ученые и д. д. Одним словом единицы интеллектуально активные и поднятые большевистской системой до больших вершин.

Философский фундамент, на который опирается коммунистический строй, создает предпочтительность для этой группы. Именно из этого фундамента вырастают основы подхода к творческим силам. Философия — продукт интеллекта. Философская система, которая становится диктатурой и принимает боевой характер, требует активных знаменосцев. Они нужны для укрепления позиций и для проникающего удара. Большевики изыкали эту группу с арены теории и вывели ее на арену практики, требуя коллаборации тех, кто ее выбирает с репрезентаторами интеллекта. Введенная большевиками система, в странах, находящихся под их протекторатом, утверждается при помощи репрезентантов мозга и талантов.

«Что касается интеллектуалистов, — говорит Милош, — то в их имени, таланте и знаниях большая нужда.»

Точное функционирование исторического материализма требует самого высшего напряжения всех интеллектуальных сил. Творческая интеллигенция, по заданию, должна ускорить процесс реализации идеи коммунизма. В реализации целей исторического материализма мозгу и таланту приписана роль неопценимого катализатора. На плечи интеллектуалистов возложена ответственность за нужные и точные реакции управляемых масс. Интеллектуалисты должны формировать сознание масс, выковыливать их мнение, влиять на создание желательного общего мнения. В этих «народных демократиях» интеллектуалисты должны тесать гранитные столбы для здания сталинской системы.

«Но работа эта зиждется на данных концепциях, акцептированных без дискуссий. Все детали выработаны с виртуозной скрупулезностью. Дороги проложены, на каждом указателе написаны направления, которого должен придерживаться интеллектуалист без какого бы то ни было «но».

При выполнении своей задачи творческая интеллигенция должна постоянно иметь взгляд, направленный вверх,

к дающему директивы, а рука должна мерить пульс актуальной ситуации.

«Интеллект считается не как творческий орган, но как инструмент исполнительный: он должен дать непосредственный эффект тем, которые управляют. То, что не дает эффекта, не считается интеллектом».

Приписывая интеллекту столь важное значение для системы, руководящие над ним производят неукоснительный контроль. Важнейшее требование — полное послушание. Линия, данная сверху, должна быть выдержана. Интеллекту предназначена роль элемента, служащего режиму в целях развития позитивных для строя тенденций и реакций. В то же время с другой стороны деспотизм в системе обеспечивает упрощение негативных проявлений. Как от одного, так и от другого элемента сталинизм требует активного участия в системе. Сама же система — олицетворение трезвости. Трезвость ведет к калькуляции. И эту калькуляцию руководители применяют в самом рафинированном виде. Одним из пунктов, принятых за аксиому, является необходимость интеллекта. Одновременно считается необходимостью и постоянный контроль интеллекта.

Но по своей натуре интеллект любит беспредельную свободу. Подталкивание его справа и слева в одном определенном направлении вызывают бунт. В сталинской системе с бунтом легко справиться — все средства на это имеются в диспозиции. Органы давления на практике и в потенциале действуют устрашающе, не допуская каких либо попыток выйти из установленных рамок. Если интеллект не подчиняется требованию и эффект его действия расценивается негативно, то органы давления применяются к нему. Непослушание и отклонение ведет за собой тяжелые последствия. Тогда даже большой удельный вес данного лица не спасает его от строгой кары, хотя иногда исключительная заинтересованность в данном человеке может временно оттянуть кару. С этой стороны, подходя к проблеме принуждения интеллекта, руководители спокойны. Но с другой — великолепно знают, что это не действует поощрительно на тех, кто уже

впряжен в работу и не действует привлекательно на интеллектуальных адептов.

Правительство одинаково заинтересовано как в количественном росте интеллектуалистов так и в их продуктивности. Обе эти цели могут быть достигнуты заранее рассчитанным поощрением, своеобразной «лаской». И вот эту «ласку» в сталинской системе применяют по отношению к интеллигенции очень широко и очень интенсивно. Птицу, которая должна петь нужную песню, всячески обхаживают.

Система, так акцентирующая интеллект и ставящая перед ним такие огромные задачи, дает интеллигенции привилегированную позицию в своей социальной структуре. «Литератор народной демократии, — дает пример автор, — находится на вершине социальной лестницы». Интеллектуалисты превращаются в новую аристократию. Почетный литератор, известный артист или талантливый журналист пользуются большим уважением чем высокие функционеры государственного аппарата. И этот респект действительный. Интеллектуалисты окружены атмосферой чего то необыкновенного.

«В Варшаве, Праге, Будапеште, Букареште, Софии, в центре циркулятивной системы каждой «народной демократии» находится специальный свет, охватывающий союзы писателей, институты диамата, редакции официальных издательств, залы выставок и концертов. Люди, дни которых проходят среди книг и бесконечных созданий новых резолюций, составляют закрытый круг, кажущийся для профанов мистериозным и нереальным. Они будто находятся в облаках над простым народом страны. Их облачный корабль можно сравнить с летучим островом философов, созданным фантазией Свифта.

При помощи средств, недоступных простым смертным, интеллектуалисты как маги, исполняют свои тайные обряды, приводя массы в нужное состояние. Особенности структуры человека востока играют здесь значительную роль. Это можно было бы определить как результат факта подсознательного преклонения перед трансцендентальностью.

Человек востока предрасположен подвергаться действию магии. Чем же иным можно объяснить исключительное действие слова, музыки, сцены или экрана? Объект, находящийся в такой сфере вступает в зачарованный свет, который он эмоционально переживает, подвергаясь его влиянию. Отсюда выходит расположение к искусству. И отсюда следует рациональное использование этой психологической особенности. На ней строится здание культуры.

Производя с момента революции эксперименты утилитаризации культуры, Москва применяет свой рецепт в новых странах своего влияния. Загипнотизированные массы идут за интеллигенцией. Культурная жадность масс облегчает интеллектуалистам их задачу. Перспективы, открывшиеся после войны перед интеллектуалистами не имеют себе подобных ни в одной из стран, находящихся вне железного занавеса. Действуя по инструкциям Москвы, правительства всех стран, попавших в сферу ее влияния, показывают теперь огромный финансовый размах. Суммы, предназначенные на культурные цели, достигают астрономических размеров. Все средства стоят в готовности перед представителями интеллекта. Все замыслы могут быть реализованы. Интеллектуалисты могут выдвигаться в любой области. Результаты работ магов слова расходятся в колоссальных тиражах. Самые новые лаборатории призывают ученых. Художники могут максимально интенсифицировать свои творческие замыслы. Павильоны выставок ждут их. Композиторы могут компонировать — концертные залы стоят открытыми. Режиссеры могут развивать свою инициативу — новые театры готовы с одной стороны, а с другой — растущий интерес публики и принятие ею с энтузиазмом духовной пищи внутреннее окрыляют интеллектуалистов.

Радость творчества якобы растет. Партия потирает руки — все развивается как надо. Москва довольна. Москва хвалит Калькуляцию оказывается правильной. Примененный метод дает желаемые результаты. Уверенность Москвы тем больше, что игра почти выиграна, хотя условия, при которых игра начиналась, были неблагоприятны. Ситуация в странах, вошедших в сферу

влияния Москвы была довольно трудной. Москва очутилась перед плотной национальной протестом, тормозящего волну триумфальных побед. Протест этот был тем более значительным, что производился не только массами — с массами справиться легче — но именно интелликтуалистами. Это — твердые орехи. Условия в этом смысле со всеми их деталями и нюансами Чеслав Милош, находясь в Польше, мог рассматривать невооруженным глазом.

«Преобладающее количество интеллигенции высказывалось за революцию, однако спорными пунктами были национальная независимость и принятие доктрины Сталина». После победы Красной Армии преобладающая часть интеллигенции поставила знак плюс при революции и знак минус при Сталине. Перед Москвой во весь рост стала задача так или иначе расположить огромные ряды интеллигенции. Резистентов нужно было привлечь за любую цену.

Свой способ лидеры сталинской системы сегодня могут с гордостью называть действительным. С огромным проникновением Чеслав Милош объясняет причины этого успеха Москвы в странах, которые она взяла под свое «опекуновское крыло». Автор одарен живостью интеллекта, толкающей его к активности. Способность абстрактного мышления дает ему свободу движения в сфере теории. Дар синтеза ведет его через логичный анализ к удачным выводам. Единственное — внешняя систематизация материала — оставляет желать лучшего. Но это деталь. Пунктом выхода рассуждений Милоша является факт резистенции в странах «опекаемых» Москвой. Это касается главным образом расположения к себе творческой интеллигенции. Такому расположению он дал название — искушение. И действительно соблазн большой. Как уже упомянуто, одним из методов сталинской системы прежде всего можно считать щедрое бросание огромных кусей на культурные цели. Первоначально такой жест приводил к тому, что интеллигенция пробовала использовать эту возможность для публикации написанного во время войны, для дискутирования проблем искусства и проблем социальных и вообще для заполне-

ния пустот, созданных войной. Забитые во время войны ворота культурных возможностей, стали вдруг открытыми, словно по мановению магического жезла. Движимая финансовым мотором машина культуры пошла полным ходом. Творческая интеллигенция развивала свою активность даже с азартом. (Но совершенно понятно, что двигаться они могли только в дозволенных границах). Крючок с приманкой был проглочен, правительственные средства создали для интеллигенции условия продуктивного творчества, привели ее не только к материальному удовлетворению. Хотя деньги в новой социалистической системе не играют роли даже приблизительно той, что на западе, тем не менее этот ключ на востоке тоже не потерял манящей силы. Наличие денег, как и на западе, есть нечто желанное. И так, деньги пробили первый лед. Они снизили враждебные настроения. Для дальнейшей игры фундамент был готов. Руководители могли идти дальше, подкручивая незримый винт. «Создавая соответствующую атмосферу и применяя деликатный нажим, пациента повели в нужном направлении. После нескольких лет пациент научился глотать огромные дозы. Таким образом многие подсознательно пришли к писанию нужных книг, к созданию желательных картин. Только кое кто заметил засаду и немедленно сбежал. Однако большинство приняло принцип, считая, что можно удержаться на поверхности без эмиграции». И этому, кроме материальных благ, содействовало главным образом зарождение особого вида морального удовлетворения. Творческий интеллигент, окрыленный небывалыми возможностями, первым долгом приходит к самонаблюдению, что он творит огромное дело, нужное народу. Больше того — дело, которого народ жаждет. Он убежден уже, что его книга, или его картина или увертюра или игра на сцене являются огромным вкладом в дело поднятия масс до какого то нужного уровня, что он выполняет большой важности долг, который ставит его в неразрывную связь с массой. И больше — вместе с тем сначала появляются ростки, а позже и плоды совершенно нового убеждения, заключающегося в том, что

все происходящее является исторической необходимостью. Возникает вера в полную неизбежность происходящего. Сталинизм, опираясь на философию исторического материализма, привел ее к практическому применению, к абсолютному примату коллектива. Социальный вопрос, который марксистская доктрина поставила на вершину иерархии проблем, начинает владеть умами творческой интеллигенции. В сталинском коллективе единица вплетена в гигантскую социальную машину. Бег этого колосса отрывает единицу от узкого личного круга, подчиняя своему ритму. Жизнь единицы, как таковой, стирается в своих индивидуальных контурах и силой обстоятельств социальные цели становятся ее целями. Узаконен только коллектив. И, хотя окончательные результаты этого крайнего понимания еще неизвестны, но все проявления личной жизни осуждены «так как они ничем другим не являются как физиологией, психологией и мистикой».

Социальная проблема, поджигая интеллектуалистов, дает новые творческие импульсы. Таланты, подогретые энтузиазмом, убеждаются в оплодотворяющем действии своих произведений. Они поддаются социальному течению, которое отрывает их от личного одиночества, вызывает чувство удовлетворения за выполнение долга перед коллективом. Работая для широких масс, голодных в смысле культуры, они должны приспособиться к уровню массы.

«Итак за связь с массой, связь, за которую надо дорого платить. Но интеллигент двадцатого века страдает из-за своей изоляции и он готов к жертвам, лишь бы быть среди людей».

Идиллия, но идиллия, таящая в себе скрытую опасность, довольно сильно манифестирующая сегодня. К сожалению русский социалистический реализм последнее время введен как принцип, — замечает Милош. Масштаб будней формирует психику. Мелкими ударами, как резцом, вынуждают интеллектуалиста

принимать участие в жизни своего синдиката, своего союза писателей или артистов, или художников или ученых. После нескольких лет человек не может уже больше ни говорить, ни думать иначе чем его окружение. Около группы интеллектуалистов, которые через практику приходят к вере, существует группа с иным оттенком подхода к своему делу. Это интеллектуалисты — конформисты, которые применяют к указанной линии только внешние признаки. Конформизм вырабатывает определенную профессиональную ловкость. Мастера пера или кисти смотрят на свою профессию довольно цинично. Их вначале незначительное количество. Однако это количество непрерывно растет. Их ряды пополняются за счет уменьшения энтузиастов. Но это — процесс дальнейшего. В первом периоде центральной группой являются те, которые усваивают новую веру. А новая вера, вызывая у человека увлечение своим окружением, в котором он является центром, неизменно, экзистенцирует.

В окончательном выводе Милош приходит к тому, что, хотя сталинская система не только завладела чувствами народа, но во многих случаях даже вызывает ненависть, однако во имя исторического фатализма заставляет клонить перед собою голову как в гипнотическом сеансе. И показательное то, что наиболее усердно поддаются такому гипнозу люди из круга творческих интеллектуалистов. Победу сталинизма они принимают как доказанный факт. Это убеждение зиждется, якобы, на законах исторических, которые детерминируют будущее человечество, растила над ним на этот раз красный свод с серпом и молотом. На этом фоне даже националистические идеи теряют вес, переходя в категорию утопий. «Явления психические, которые происходят в народных демократиях, фальсифицируют наблюдателя. Для тех, кто узнал магнетическое владычество бога истории и не подчинился ему, потому, что верит в то, что человек сам может

формировать историю, только для тех существует специальная задача».

Сам Милош имеет полное представление об этой эпохиальной задаче. Актом свободной воли прервал он покоряющий магнетический ток. Он отвел свой взгляд от соблазна. Решительным шагом сошел он с узкой дороги исторического материализма в лабиринт запада, где тысячи ходов, ведущих на солнечную поляну. От «необходимости» он ушел к объективной правде, которая гласит, что человек имеет свободную волю, что она является его единственным и бесспорным даром, полученным в собственности от источника всех вещей. Соединяя эту волю с волей абсолюта, он в состоянии прервать цепь необходимостей и дать творящемуся процессу иной ход. Свободная воля, включившись во вращающееся колесо, дает заметный эффект, который в состоянии изменить результат. К философскому знанию диалектического материализма, построенному на принципе «материя есть первостепенное», жизнь придвигает такие орудия, которые колеблют фундамент этого здания. Все процессы человеческого сознания, как и воля, не имеют реальной экзистенции. Воли индивидуальной, существующей объективно и независимо — нет. Воля человека зависит от целого конгломерата элементов. И там, где она проявляется во всей силе, самый большой соблазн теряет свое значение.

Хирургическая операция, которую произвел Милош, показательна именно в том отношении, что тут первостепенное значение имела свободная воля. Об этой силе говорит и сам Милош, вынося ее за скобки личного поступка. И это безусловно верно. Сконцентрирование воли и толкание ее в нужном направлении может затормозить бег событий и дать им желаемый характер, спасая человечество от беды. Среди борцов за эту идею находятся историки, имеющие самые известные и почетные имена. Арнольд Тойнби (в Англии), Питирим Сорокин (в Америке) стоят во

главе тех ученых, которые свободную волю признают даром свыше и имеют смелость взять в свои уста слово «Бог». Еще недавно это слово не находило места в репертуаре научных понятий, а ученый, который рискнул бы проявить свое собственное убеждение в этом смысле, потерял бы научный авторитет. Снисходительная улыбка преследовала бы его на каждом шагу. Неожиданные и эпохиальные достижения точных наук, приоткрывая уголок тайн, заставили изобретателей первого ряда склонить голову перед результатами, вытекающими непосредственно из факта экзистенции силы, которая не принималась во внимание официальной наукой. Физика привела к метафизике. Плачет точных наук осмыслил и другие понятия и в том числе и современную историю. Все это приводит к тому, что здание исторического материализма стало очень шатким и соблазны его теряют свою магнетическую силу. Тема трансцендентальная становится осью, вокруг которой кружит человеческая мысль. Своей формой эта тема отличается от всех проявлений, известных в истории человечества. Это не оторванная от земли теория, а — наоборот — пропитанная стущенным соком конкретизма, вплоть до применения практических постулатов в космической гармонии. Проблема социальная выступает одновременно с проблемой метафизической. Они переплетены и неразрывны. Как таковые, они и воспринимаются тем, кто принадлежит будущему.

Социальная проблема имеет значение эпохиальное. Она выходит на первое место среди прочих проблем, связанных с судьбою человечества. Земная кора колеблется от могучих движений социальной лавы, и сейсмографы даже самых отдаленных наблюдательных пунктов отмечают усиленное действие этих подземных, движущихся с непокоримой силой масс.

В этой обстановке приобретает первостепенное значение непогрешимо правильный показ советской действитель-

ности в России, в той стране, где решение социальной проблемы приняло характер системы. Такой показ необходим, как в части практической, т. е. экономики, организации труда, функционирования государственного механизма, в условиях быта и проч., так и в части теоретической, касающейся скрытых внутренних пружин, содействующих бегу большевистского локомотива.

Сила искушения действует притягательно. Нейтрализовать ее можно лишь, вскрыв ту сущность, которая очень искусно и соблазнительно задрапирована. В этом смысле и поступок Чеслава Милоша, и его книга, несмотря на ее скромный объем, заслуживают особен-

ного внимания. Знаменателен сам факт, что поэт, перед которым открылись исключительные, заманчивые возможности, в виде предоставления ему заказа на перевод всех произведений Шекспира на польский язык, поэт, которому оставалось несколько шагов до звания лауреата, с чем связывалось выгодное общественное положение, слава и материальное благополучие, все же устоял, не поддавшись искушению. Это — блестящий пример того, как можно и нужно противиться притягательной силе сегодняшнего Молоха.

Что касается книги, она ценна, как удачная попытка разложения на составные части той скрытой силы, которая не без основания именуется «великим искушением».

***** * *****

Советская литература и советская критика наших дней*)

1.

«Сила советской литературы, самой передовой литературы мира, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства.»

Это — выдержка из постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы, принятого пять лет тому назад, в августе 1946 года. — Постановления действительно «исторического» не только потому, что оно столь откровенно декларирует беспрецедентную в мировой истории творческую несвободу, но и потому, что определяет полностью тот этап в жизни литературы нашей страны, который иные называют «ждановским» и который, конечно, правильнее называть по имени вдохновителя — сталинским этапом советской литературы.

Две особенности советской литературы последнего пятилетия характеризуют ее бытие, согласно этому постановлению:

ее «тотальная» направляемость (заказанность) партией,
ее служебность.

Следует решительно протестовать против выражения «социальный заказ» в применении к художественному творчеству в СССР. Социальный заказ, как выражение пожеланий человеческой общности, существует в той или иной мере во всех странах, кроме стран сталинской орбиты. В СССР не существует социального заказа, и в этом ведь какая-то часть трагедии советского художника и заключается. В СССР общественные интересы представ-

ляются (подменяются) интересами правящей партии. В СССР для художника существует **заказ партийный**.

Обязательность этого партийного императива — и в этом отличие советского творчества последних лет от творчества, скажем, двадцатых и даже тридцатых годов — осознается самими пишущими как **непреложность**:

«Для нас, писателей, — заявляет, например, Анна Караваяева, — нет важнее и выше задач, чем те, которые поставлены большевистской партией.»

Партийный контроль над литературным творчеством выражается ныне и в специфическом самоконтроле пишущего, когда весь процесс творчества совершается согласно настольной партийной инструкции. Какая-либо возможность творческих концепций, откровенно противостоящих партийно-заказанному, исключена полностью: партийная цензура начинается за письменным столом и продолжается в секциях Союза советских писателей, руководство которым осуществляет партийный комитет, состоящий из генерального секретаря Союза А. Фадеева, членов: Л. Ошанина, К. Симонова, А. Жарова, Чаковского и нескольких других литераторов-партийцев. Творческие отклонения от партийной инструкции в уже опубликованном произведении могут встретиться лишь самые незначительные. Это чаще всего те проявления творческого своеволия, в конце концов для всякого творчества органические, которые инструкцией не были предусмотрены. Их затем обнаруживает высшая партийная критика и подвергает разгрому. Существует еще, повидимому, «высочайший» контроль, когда все предшествующие партийные диагнозы объявляются (как

*) Доклад, прочитанный на расширенной сессии ученого совета Института по изучению истории и культуры СССР (Мюнхен). Печатается сокращенно.

было, например, с пьесой Кожевникова «Огненная река» или с оперой «От всего сердца») недействительными, и даже выданные уже премии отбираются назад.

Говоря о партийной направляемости литературного творчества в СССР, надо отметить и попытку плановой подготовки кадров «инженеров душ»: так, в последнем выпуске Литературного института им. Горького дипломные работы на писательские звания защитили 37 человек (13 прозаиков, 19 поэтов и 5 критиков), педагогически «сформированные» в духе партийной инструкции. Проведенное в марте 1951 года второе всесоюзное совещание молодых писателей также преследовало прежде всего цели «внедрения» в их творчество партийной целенаправленности.

Служебно-функциональный характер советской литературы — «пропагандиста идей» воинствующего коммунизма, намеченный в свое время еще Лениным в статьях «Партийная организация и партийная литература» и «О пролетарской литературе», принял в сталинской интерпретации вид откровенного ремесленничества. Служебный характер этот пытаются обосновать «классовой обусловленностью творчества» — по Марксу. Маркс, однако, в свое время в «Заметках о новейшей прусской цензуре» жаловался:

«Закон разрешает мне писать, но я должен писать не в своем собственном стиле, а в каком-то другом. Я имею право выявлять лицо своего духа, но должен придать ему предписанные складки»...

В какой мере советский писатель имеет возможность «выявлять лицо своего духа» — общеизвестно. Какие же именно складки должен он придавать этому выявлению, согласно партийной инструкции?

В основе партийного метода художественного творчества, иначе — метода так наз. «социалистического реализма», честь изобретения которого приписывается непосредственно Иосифу Сталину, лежит задача создания активных иллюстраций к текущим установкам и мероприятиям властвующей партии. Эти литературные иллюстрации имитируют такую видимость

событий и явлений, какую желают им придать партийные заказчики (т. е., скажем, изображают не просто колхозную жизнь, но непременно «колхозное изобилие», не просто принудительный труд и эксплуатацию, но обязательно «трудовой энтузиазм» и т. п., — на языке советских теоретиков литературы это называется «партийным обобщением действительности»^{*}). Иллюстрации должны также носить характер «руководства к действию», представлять типы образцовых «героев нашего времени» на предмет «подражания». Все это — обязательные признаки метода «иллюзорного» реализма, мастерства правдоподобного изображения того, чего в действительности не существует. Следует, однако, добавить, что внутренний замысел литературы сталинского этапа трактует познавательную функцию «иллюзорного» реализма прежде всего как функцию «инженера душ», т. е. воспитателя и перевоспитателя масс. Эта функция основана не только на переосмыслении понятия жизненной правды в творческом ее изображении, но и вообще на переосмыслении целого ряда ценностных общечеловеческих понятий: добра, любви, красоты, дружбы и прежде всего морали.

Вот в этом направлении и должны ложиться предписанные писателю «складки его духа», духа творческого, и, не говоря уже о насилии над творческой свободой, самый характер «заказа» таков, что между этико-эстетическими творческими основами и обязательным «переосмыслением» возникает конфликт, решительно убивающий собственно художественное, гармонию.

Приведу в качестве иллюстрации несколько строк из очерка недавно умершего П. Павленко, одного из талантливейших советских прозаиков. Очерк называется «Школа писателя — жизнь» и содержит, между прочим,

^{*} «Где правда?» — пишет в журнале «Новый Мир» Анна Караваяева. — Выдвинуть на передовую линию повествования нерадивого колхозника или отсталого рабочего, или главные нити действия и осмысления событий дать в руки того героя, который побуждает людей идти с народом (партией) — Л. Р.)? Конечно, второе и есть настоящая правда, передовое партийное обобщение действительности.

следующий эпизод из современной колхозной действительности: — в качестве образца «приоткрывающейся перед нами страницей будущего»:

«Сватался парень к девушке, а колхоз отвечает: — за этого парня не выдадим. Он ей не ровня. Ее портрет висел уже на доске почета четыре раза, а он еще ни разу. Порвняется — пожалуйста, отдадим»...

Так вот: пусть «инженер душ» изобразит этот эпизод в своем романе самыми яркими, самыми увлекательными красками; влюбленного парня, энергическую ударницу, заботливых колхозных отцов и матерей... У читателя все же возникнет, не может не возникнуть вопрос: есть ли что-либо более бесстыжее, чем выдача этого коллективного полицейского насилия над личностью, вызванного в конце концов лишь стремлением выжать «трудовые достижения» в карман государству, за естественную норму человеческих отношений настоящего или будущего. Разве не делается за такое будущее страшно?

Из сказанного следует, что к явлениям советской литературы наших дней нельзя подходить со старыми, традиционными критериями эстетической оценки: хорошо — плохо, впечатляюще с точки зрения художественной правды или невпечатляюще. Темы, сюжеты, конфликты, композиционные приемы, образы и способы их раскрытия, даже стилиевые и языковые нормы — все за к а з а н о, все подчинено партийно-пропагандному замыслу и, следовательно, в той или иной мере, в зависимости от мастерства и степени приспособляемости, покрыто уродливыми оспинами тенденции.

Поэтому критический анализ того или иного произведения должен прежде всего разграничивать два плана творческого процесса и творческого завершения: с в о б о д н у ю творческую перцепцию художника (в обход «заказа») и перцепцию продиктованную. Художественные удачи или неудачи авторов в этих двух направлениях, как правило, и размещаются.

2.

Собственно говоря, тема советской литературы послевоенного периода одна: «Мы идем к коммунизму». Мне скажут:

позвольте! А патриотическая тема военных лет? — Да, это был светлый проблеск в творчестве советских литераторов, когда, в обстановке всеобщего патриотического подъема, «ножныцы» между свободным творчеством и партийным диктатом художнику сомкнулись, и это способствовало появлению ряда произведений значительной художественной силы (в поэзии — некоторые стихи Симонова, например, или фрагменты поэм Твардовского, в прозе — «Дни и ночи» того же Симонова или «Взятие Великошумска» — Л. Леонова или отдельные главы «Молодой гвардии» — Фадеева и т. д.). Но вот отшумели залпы войны, и Фадееву пришлось переделывать свой роман: партийное руководство патриотическим порывом оказалось недостаточно «партийно обобщено».

Война кончилась. Пафос и многие горячие надежды остыли. И таким заманчивым показалось приспособить патриотический порыв к мирному употреблению — переключить на «трудовой энтузиазм», и «порыв в коммунизм».

Тема советского патриотизма, иначе — «преданности партии Ленина-Сталина», ныне подпирает в качестве обязательного идеологического стержня все интерпретации главной темы. Основная из этих интерпретаций — «Строим коммунизм!» Здесь — два тематических крыла: подлиннее — строительство в колхозах и покороше — строительство индустриальное. Бабаевский — «Кавалер Золотой Звезды» (первая сталинская премия 48-го года), Бабаевский — «Свет над землей» (премия первой степени за 1-ую книгу в 49-ом году и премия второй степ. за 2-ую книгу — в 1950 г.), Мальцев — «От всего сердца», Г. Николаева — «Жатва (1-ая премия в 1951 году), пьесы Вирты, Корнейчука, поэма Грибачева «Весна в Победе», поэма Яшина «Алена Фомина», стихи Исаковского и других, — нет, тема колхозов, конечно, — основное крыло, на котором, поддуваемое партийным заказом, «летит к коммунизму» современная советская литература.

Другое крыло представлено также обширным рядом произведений, от романа «Сталь и шлак» Попова, получившего премию 1948 года, до романа Б.

Горбатова «Донбасс» (№ 1-3 журнала «Новый мир» за 1951 год). В драматургии это — «Зеленая улица» и «Рассвет над Москвой» — Сурова, «Московский характер» — Софронова и множество других пьес производственной тематики, в поэзии — поэма М. Лукониной «Рабочий день» С. Кирсанова — «Макар Мазай» и др. — «Индустриальное» крыло растет в последнее время интенсивно за счет «великих сталинских строек»...

Я не хочу схематизировать. Разумеется, к основной теме «Мы строим коммунизм!» примыкает ряд других тематических заказов — подсобных и самостоятельных. Постоянным подсобным заказом является, например, требование выведения «показательных» героев — «руководителей и организаторов масс». Множество произведений стремится удовлетворить именно этому требованию. Назову в качестве примера роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» — почти единственный в советской литературе, в котором автору удалось создать жутко-убедительный образ «положительного» чекиста. Эпизодическому заказу на «разоблачение космополитизма» отвечает, например, пьеса С. Михалкова «Илья Головин». Самостоятельным заказом является тема «освоения» исторического прошлого в смысле его партийного переосмысления и отыскания в нем оправданий настоящему (роман «Дмитрий Донской» — С. Бородин, киносценарии — «Суворов», «Мусоргский», «Пирогов», «Академик Павлов», пьеса А. Штейна «Флаг адмирала» и др.) или фальсификации недавнего прошлого, вроде пьесы Вишневского «Незабываемый 1919-ый». Самостоятельна как заказ тема антиамериканская (Б. Лавренев — «Голос Америки», С. Михалков — «Я хочу домой», Н. Погодин — «Миссурийский вальс», К. Симонов — «Друзья и враги» и т. д.) и тема «борьба за мир» — особенно настойчиво предлагающаяся пишущим в последнее время.

Тематическая узость партийного заказа бросается в глаза при самом беглом обзоре вдохновляемой им литератур-

ной продукции*). Еще более стеснена узостью заказа так называемая «литература братских народностей» в связи с необходимостью уложиться в коварную формулу «национальной по форме, социалистической по содержанию». Просмотр отмеченных сталинской премией произведений писателей Татарии (роман «Честь» — Гумера Ваширова, например, рассказывающий о колхозе «Чулкан») Азербайджана (роман «Наступит день» — Ибрагимов, поэмы и стихи Расула Рзы, Самета Вергуна, Рустана и др.), Грузии (роман «Дело» А. Чайшвили — о соревновании в грузинском колхозе), туркменской, казахской («Путь Абая» — Мухтара Ауэзова) и других «малых» литератур легко останавливает господство в них двух основных тем: все о том же колхозном строительстве и — темы исторического прошлого, которое предписано освещать непременно как «совместный с русским народом путь к Октябрю». Уклонения рассматриваются, как известно, в качестве «националистических тенденций»**).

* * *

Большинство произведений «сталинской эпохи» литературного творчества в СССР стоит на катастрофически низком художественном уровне. Многим из получивших сталинскую премию романам (вроде, например, романа «Живая вода» — А. Кожевникова) следует решительно отказать в самом праве

*) В «Литературной газете» в начале 1951 года опубликовывалась сводка вопроса: «Над чем работают писатели?» По подсчетам оказывается, что 45 пр. из них заняты колхозными темами, 32 пр. — темами о стройках и 25 пр. — остальными «актуальными» темами заказа. Только Борис Лавренев обещал работу о Лермонтове — в связи опять-таки с «актуальностью» юбилея поэта.

**) Так, вслед за разгромом в «Правде» украинского поэта Сосюры и нескольких русских — за недостаточную «советскость» ощущения родины, — Корнейчук на 6-ом пленуме Союза сов. писателей Украины «вскрывал» свои и других украинских литераторов идеологические ошибки. На состоявшемся в конце июля пленуме Союза сов. писателей Узбекистана разоблачались аполитичность, безидеологичность и проявления буржуазного национализма в творчестве Шейхаза, Тураба Тулы и других. То же происходило и среди азербайджанских писателей (в связи с «пропагандой антинародного эпоса „Деде Коркут“») и в ряде других национальных писательских организаций.

называется беллетристикой. Критический обзор литературных произведений, отмеченных премией в последнем туре «высочайших» наград (1951 года), я давал в статье «Обреченные» в № 2 «Литературного Современника» и, следовательно, повторяться не должен. Но если просмотреть крупнейшие советские журналы за первые три квартала 1951 г., — впечатление художественной неполноценности того, что печатается там в качестве образцов творческой продукции литературы соц. реализма, возникает отчетливо у любого объективного читателя.

Борис Горбатов — автор с дарованием, но его роман «Донбасс», напечатанный в первых трех книжках журнала «Новый мир», никаких творческих удач не содержит. Авторские возможности спотыкаются о непреодолимые задачи имитации «творческого энтузиазма» горняков и партийной интерпретации возникновения стахановского движения. Роман — несомненно кандидат на первую сталинскую премию 1951 года, на это и рассчитан в ущерб художественной правде и убедительности.

Трудно читается роман Г. Березко «Мирный город» («Знамя»), изображающий патриотизм рабочего тыла, ставшего в период последней войны фронтом. Сравнительно благодарная тема не помогла автору создать сколько-нибудь убедительные в художественном отношении картины и образы. Нет их и в повести Л. Филатова «Вторая рота» (о том, каким должен быть ротный парторг), нет и в колхозном романе Е. Поповкина «Семья Рубанюк» («Октябрь»). Творчески вял роман Слонимского «Верные друзья» («Звезда») — продолжение его романа из дореволюционного прошлого «Инженеры».

Несколько переводных с языка братских народностей произведений, помещенных в названных выше центральных журналах, мало интересны. Полнейшей творческой беспомощностью, осложненной примитивнейшими приемами приспособленчества, отличается среди них роман В. Лациса «К новому берегу» (авторизованный перевод с латышского Я. Шумана), напечатанный в № 8-10 «Звезды».

Я не собираюсь давать «антипартийных» критических обобщений: разумеется, среди художественной прозы партийного заказа встречаются и творческие «оазисы», — фрагменты подлинного мастерства, не изуродованные инструкцией. Назову, например, романы К. Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето» или, скажем, сочно написанную повесть П. Павленко «Степное солнце», Ф. Гладкова — «Вольницу», Ю. Трифонова — «Студенты» или небольшой рассказ Б. Бедного «Комары» в № 5 «Нового мира». Но внимательный анализ этих удач убедительно говорит о том, что все подлинное в них возникло лишь в результате обхода «партийного» метода. Одним из приемов такого обхода является выбор темы прошлого в явное нарушение основного параграфа инструкции: «тема современности — важнейшая тема советской литературы». Именно в этом прошлом находят авторы ту поэтическую действительность, которой не видят в настоящем, и те образы романов Федина, например, которые ему удалось избежать от обязательного «переосмысления», яркие и впечатляющие, как и те образы в повести Гладкова, которые спаслись от предпринятого автором «углубления» горьковского реализма.

Типы современной студенческой молодежи у Ю. Трифонова правдивы и убедительны до тех пор, пока он не заставляет их «функционировать» в духе предписанной инструкцией, т. е. в духе переосмысления общечеловеческих, естественных норм юношеских интересов, переживаний, любви, дружбы и этики.

В рассказе Б. Бедного «Комары» использован, как мне кажется, другой прием «обхода», который я условно называю приемом «обрамления». — Центром творческого внимания автор избирает «свободные» мотивы отображения, к партийной инструкции отношения не имеющие (в данном случае — эпизод размошки героя с любимой женщиной, переданный с большим мастерством рисунка), т. е. то, что самому автору творчески близко, родственно, авторгенно. Авторгенное вставляется в рамку инструкционного тематического шаблона (в данном случае — в обстановку про-

рыва на лесосплаве, где оба персонажа работают, т. е. в сферу интересов, которыми только и положено жить героям современных советских повествований). Произведение таким образом получает паспорт на требуемую «актуальность».

Поиски обхода, отбора хотя бы мозаических элементов «автогенного» среди чужеродности заказа — видимо, единственный путь советского автора наших дней к созданию фрагментов подлинного мастерства. Одновременно поиски эти — и единственный путь сопротивления партийному заказу в литературном творчестве, — сопротивления необычайно упорного, как это показывает внимательный критический анализ.

Однако и полицейский нажим на творческую свободу в СССР в течение последнего пятилетия растет вглубь и ширь, и поэтому положение и перспективы творческого слова там поистине катастрофичны...

3.

Не менее безрадостно и положение советской критики. Прежде всего — потому, что всякая школа художественной критики опирается на разработку вопросов литературоведения и общей эстетики. Советской эстетики же не существует:

«Марксистско-ленинская эстетика изучает не законы красоты вообще, а закономерности развития искусства в нашем обществе, — искусства, активно участвующего в строительстве коммунизма.»*)

В полном соответствии с этой декларацией находится и определение критериев прекрасного, предлагаемое «Правдой»: «Прекрасное есть свободная жизнь народа, строящего коммунизм»...

Создать на основе таких критериев литературоведческую теорию, конечно, немислимо. Ее и нет в СССР. Были некоторые теоретические домыслы у пролеткультовцев, затем — у рапповцев и оказались ложными; возникали социологические построения у В. Перверзева, биографические — у Пиксанова и т. д. — и неизменно разоблачались как порочные. Далекой памяти

«Литературная энциклопедия» распу- скалась в процессе издания, как глади- олюс; когда появлялся очередной том, предшествующие увядали, объявлялись идеологически невыдержанными. «Со- циалистический реализм», т. е. требова- ние обязательной партийности творче- ских методов и направлений, оконча- тельно сделал невозможным создание сколько-нибудь научной литературовед- ческой теории, и о необходимости при- ступить к ее разработке тщетно по сей день взывают газетные передовицы. Научных литературоведческих автори- тетов нет и не может быть. Очень от- кровенно писал по этому поводу совет- ский критик Трегуб:

«Ни в одной из работ до конца 1935 года, т. е. до известного высказывания т. Сталина о Маяковском, нет правиль- ного осмысления творческого пути по- эта.»

«Осмысление» появилось лишь после «высочайшего» признания Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом на- шей советской эпохи»...

Среди современных советских крити- ков также налицо стремление ухода в прошлое от «опасной» современности. «Из 203 критиков Союза писателей в Москве, — жаловался еще в 1949 году А. Фадеев, — не более 50 человек за- нимаются конкретной критикой, т. е. советской литературой. В Ленинграде из 73 — всего 16 человек. Закономерно ли с точки зрения ленинского учения о партийности в литературе, что подавля- ющее большинство критиков занимает- ся, плавным образом, прошлым, а не настоящим?»

Это вполне закономерно — разумеет- ся, не с точки зрения партийности, а в силу беспомощного положения литера- туроведов и критиков, лишенных воз- можности объективного суждения о продукции партийного заказа.

Говоря о советских исследованиях русской литературы прошлого, я не отрицаю, конечно, ценности многих ра- бот советских ученых в этой области. Однако, принцип «партийности» вносит несомненно в некоторые из этих работ ошутительные опустошения, а обяза- тельность тенденции заставляет очень часто весьма настораживаться. В одной из статей К. Озеровой («Задачи совет- ского пушкиноведения»), напечатанной

*) „Лит. газета“ № 83 1951 г.

по следам пушкинского юбилея 1949 г. в «Литературной газете», сообщается, например, о большой работе, выполненной советскими пушкиноведами по расшифровке до сих пор не изданных пушкинских черновиков. Автор приводит текст реконструкции одного из таких документов — неизвестного нам послания поэта к друзьям (Жуковскому, Вяземскому и Плетневу). До реконструкции черновик содержал всего шесть неполных, с пропусками, строчек, и К. Озерова уверяет, что «правильный ответ на загадку могли дать только советские ученые». Вот этот восстановленный текст:

Заступники кнута и плети,
О знаменитые князья,
За все жена моя и дети
Вам благодарны, как и я.
За все молить я Бога буду
И никогда не позабуду...
Когда же братья позовут
Меня на ... расправу,
За наше здравие и славу
Я дам царю мой первый кнут.

В этой реконструкции много невероятного: и обращение «знаменитые князья», и грубая жажда кнутаобойства, и весь резкий характер дружеского послания. Стихотворение, как установили советские пушкиновееды, написано в 1825 году, в ссылке. Но тогда строки насчет жены и детей надо рассматривать лишь как шуточную формулу: в 1825 году Пушкин, как известно, женат еще не был...

Касаясь уровня советских критических оценок произведений **современных** авторов, я позволю себе привести пример из «Правды» конца 1951 года, в которой был помещен критический разбор напечатанного в журнале «Октябрь» стихотворения Н. Грибачева «Спор» (подражание Лермонтову). У Грибачева пререкаются две «советских» горы — Казбек и Арарат. Арарат говорит следующее:

Прекрасней озера Севан
Озер на свете нет.
Поит арбуз и баклажан,
Дает тепло и свет...

«Н. Грибачев явно недооценил севанскую стройку — одну из крупных социалистических строек Армении и Советского Союза», — замечает критик, не-

довольный такой обывательской характеристикой озера («поит арбуз и баклажан»).

Казбек отвечает на бахвальство таким образом:

С твоей почетной высоты
Среди окрестных гор
Ты видишь лишь свои сады
Свой свет и свой простор...

«Такое отношение к Арарату, символизирующему советскую республику, — поучает Грибачева критик, — обвинение по меньшей мере в национальной ограниченности».

Уровень советской художественной критики наших дней этот пример характеризует, по-моему, весьма отчетливо.

Критика, тем не менее, партийным вдохновителям советской литературы чрезвычайно нужна. И именно — не только ограничительно-погромная, полицейская, но и педагогическая, способствующая творческому росту авторов, росту мастерства, необходимого для создания достаточно правдоподобных «иллюстраций». Поэтому тема о поднятии на высоту советской критики «большевистской», «принципиальной» и т. д. не сходит со страниц газет в течение последних трех лет. Со свойственным партийной «принципиальности» цинизмом критиков упрекают в замалчивании значительных произведений современной литературы, в «схематичности» отзывов, наконец — в отсутствии «мужества». Но полицейскими понуканиями критической мысли, парализованной «партийностью» суждений, оживить невозможно, и язык критиков неприспособленцев в СССР остается загнутым к гортани...

4.

В заключение — о нашей методологии исследования современной советской литературы. В основе этой методологии, мне кажется, должно лежать отчетливое представление о внутренней неоднородности этой литературы, как литературы **з а к а з а**, которому всегда в той или иной мере **п р о т и в о с т о и т** органически свободная творческая мысль и воля художника. Различение поэтому в ряде произведений советских авторов **п л а н а п о д л и н н о г о**, творческого, и **п л а н а з а к а з а н н о г о** — является, по моему

мнению, важнейшей линией нашего исследования.

Пользуясь ею, исследователь-социолог отчетливо устанавливает «акцент» заказа — предписанные умолчания, навязанные «осмысления», обязательные смещения в изображении «партийно-обобщенной» действительности, психологии и поведения советских людей. — Потому что, как правило, все эти элементы «заказанного» корректируются, а иногда и опровергаются не уложившимися в «инструкцию» творческими компонентами или творческим «подтекстом».

Приведу иллюстрацию: выдвигая задачу создания «положительных героев нашего времени», «инструкция» забыла, например, включить в их номенклатуру газетных партийных работников. Когда об этом вспомнили (см. статью «За правдивый образ советского журналиста» в «Лит. газете» № 98 за 1950 г.), оказалось, что упущенное уже трудно исправить: в целом ряде произведений тип газетного работника зафиксирован без всякого «партийного обобщения», персонажем «беспринципным», отрицательным, наделенным чертами неприятными, отталкивающими», т.е. такими, какими и бывают в жизни профессионалы партийно-пропагандного облыжного слова. Повинны в шельмовании советских журналистов оказались А. Корнейчук (пьеса «Фронт» — в ней выведен специальный корреспондент столичной газеты Крикун, представленный трусом, фанфароном и подхалимом), А. Суров (пьеса «Далеко от Сталинграда», в которой редактор газеты Глазунов — подхалим, шкурник и трус, страдающий «ожирением совести»), и даже Илья Эренбург, в романе которого «Буря» выведен редактор одной из столичных центральных газет Лабазов, с такой характеристикой:

«... маленькие его глаза оживлялись только, когда он думал, что кого-нибудь перехитрил. Газету он не любил... го-

ворил сотрудникам: «Фокус в одном — не ошибиться!»...

Путь чисто формального анализа произведений современных советских авторов также дает зарубежному исследователю много интересного. Сопоставление планов «заказанного» и «творческого» в произведении позволяет проникнуть в тайники лаборатории подневольного творчества, выяснить что в творческой теме является для автора родным, автогенным, и от чего он особенно отталкивается как от вполне чужеродного его внутреннему замыслу и творческому ощущению; выяснить, таким образом, направление, формы и силу сопротивления художника насилию партийного заказа, равно как и меру «творческого приспособления». Вот совсем короткий пример из романа Павленко «Счастье». Изображается чета молодых колхозников Поднебеско:

«Им было не более, чем по двадцати лет, и лица их, когда они улыбались, выглядели детскими. Но стоило им задуматься и на мгновение потерять власть над мускулами лица, как все молодое, счастливое исчезало, уступая место выражению боли»...

Как это хорошо и правдиво! Однако тут же, испугавшись, что уклонился от инструкции, автор добавляет:

«Но оба они производили впечатление не только стойких (!), но и талантливых. В их облике чувствовались черты новые, еще до них не существовавшие»...

Для тех, кто изучает социальные отношения в СССР, советская литература — один из немногих доступных нам богатейших источников познания советской действительности. Изучению ее следует уделить особое внимание. — Не меньшее, чем уделяют ей партийные функционеры, пытающиеся превратить творческое слово в «воинствующего пропагандиста» идей международного коммунизма.

В поисках положительного героя

Основной проблемой современной советской литературы является создание положительного типа человека сталинской эпохи — т. е. нового человека, который должен обладать определенными нравственными чертами, характеризующими человеческую личность, освободившуюся от всех отрицательных нормальных качеств докоммунистического общества. Однако, на практике, по свидетельству советских же литературных критиков, положительные герои, выводимые авторами, схематичны; они тусклы, бледны, похожи друг на друга. Их пресловутые положительные качества, так яростно пропагандируемые партийной критикой под видом новой коммунистической морали, не привлекают симпатий ни читателей, ни зрителей.

Советской литературе первых послевоенных лет удалось создание ряда типов, овеянных ореолом революционной романтики; период последней войны также дал целую галерею типов храбрых, честных, простых русских воинов, в которых, однако, трудно уловить какие-либо особые специфические черты, присущие только советскому воину. Несмотря на все протесты марксистской критики против положений так называемой надклассовой общечеловеческой нравственности, даже при поверхностном сравнении дореволюционной русской или иностранной литературы, описывающей военные эпизоды, с советскими романами и повестями военных лет, легко можно заметить, что понятия храбрости, честности, дружбы на фронте не изменились. Литературе же довоенного и послевоенного периода не удается создание положительного типа. Такие герои как Батманов, Тугаринов, Рогов являются не живыми людьми, а рупорами партийного заказ-

чика. Основное положительное качество «настоящего человека» Мересьева также не характерно только лишь для сталинской эпохи: это общечеловеческое положительное качество — добиться завершения своей мечты путем максимального напряжения воли — одето в романе Полевого в пышные одежды рекламного «нового человека».

Неудача создания типа положительного героя в советской литературе объясняется полным провалом попыток большевиков создать, так называемую, ранее пролетарскую, а в настоящее время коммунистическую нравственность. Такие общечеловеческие нравственные понятия как «совесть», «честь», «благодарность», переосмысливаясь большевиками в соответствии с их насущными политическими задачами, не наполняются содержанием, способствующим созданию положительного героя, который мог бы вызвать у читателя или у зрителя желание подражания.

Большевики резко критикуют основное положение этики английского философа начала восемнадцатого века Кумберленда: «добро есть то, что приносит счастье обществу», за его, по их мнению, попытку построить надклассовую мораль. Но, проповедуя свою коммунистическую нравственность, они выставляют тезис: «добро есть то, что способствует построению коммунистического общества», действительным содержанием которого оказывается следующее категорическое положение: «добро есть то, что полезно и что служит для поддержания господства большевистской партии». В настоящее время этот тезис доминирует над всеми другими и является основным движущим началом, направляющим всю жизнь советского послевоенного общества.

Подобный принцип поведения не только устраняет евангельскую заповедь «не убий», которая должна стать непреложной основой поведения любой человеческой личности, но и всячески пропагандируют обратное, заранее развязывая себе руки утверждением, что в интересах победы коммунизма пролетариат не может не прибегать к оружию революционного террора, к физическому уничтожению «наиболее закоренелых своих врагов».

Факт ежедневного массового убийства человека человеком, происходящего в Советском Союзе и прикрытого специальным термином «физическое уничтожение», не находит отражения ни в советской литературе, ни в публицистике. Вместо этого там все еще появляются уверения в том, что все созидатели коммунизма это люди чистой совести. Писатель Петро Вершигора озаглавил свой роман о партизанах, действующих в немецком тылу во время войны, «Люди чистой совести». Советские милиционеры пишут стихи о своем собственном «высоком моральном облике»:

С чистыми руками,
С ясной головой
Мы храним законы
Родины родной.

Передовые всех советских газет усиленно внушают читателям, что «Высокие нравственные качества строителей коммунизма — плоды многолетней воспитательной работы партии». В этом, безусловно, не приходится сомневаться. Партии пришлось не мало потрудиться, пока удалось исковеркать настолько массы людей «в духе коммунистической морали», чтобы сделать их пригодными для проведения в жизнь ее «великой цели» — достижения полного господства идеи всеобщего рабства. Все ее хранители закона с чересчур чистыми руками обязаны выполнять «высокие задачи» не только во имя интересов трудящихся Советской страны, но и «на страх ее врагам». Достаточно одной этой фразы, чтобы все пространные рассуждения о высоких целях блюстителей коммунистического порядка были бы сведены на нет. Большевики не даром так старательно прививают советским людям «такие замечательные качества, как ясность цели, настойчивость и твердость

характера» — рука палача не должна дрогнуть, опускаясь на голову невинного. Но если на первом этапе всеразрушающей деятельности большевиков и их карательных органов эта окровавленная рука стала знаменем революции и существование ее оправдывалось словами Ленина о том, что революцию в белых перчатках не делают, то теперь всеми средствами большевики стремятся к распространению мифа о чистоте этой ужасной, бурой от застывшей на ней десятилетиями крови, руки чудовища. Пожалуй, еще никогда в истории человечества лицемерие не носило такой нагло-добродетельной маски на своем жутко-отвратительном обличьи.

Что же касается партизан с чистой совестью, то самые условия их существования делали убийство и грабеж нередко неизбежным, а часто и обыденным делом. В действительности большинство партизан стояло по ту сторону добра и зла. Кроме того, моральные законы военного времени имеют свою специфику: может быть именно во время войны совесть многих подсоветских людей временно освобождалась от конфликта между личными и навязанными общественными интересами, конфликта, свойственного лучшим представителям народа, вынужденного жить в условиях большевистского тоталитаризма.

Можно ли говорить о чистоте совести у работников МГБ и НКВД? Несмотря на то, что штат этих людей опромен и роль их в аппарате советского государства первостепенна, они редко и безуспешно появляются в качестве положительных героев в советской литературе. Какими же моральными нормами руководствуются эти люди в своей повседневной деятельности? Что они не свободны от переживаний, что они подвержены нервным заболеваниям, часто ведущим к психозу — факт общеизвестный. Но раз попав в эту касту привилегированных и облеченных неограниченной властью людей, они теряют всякую свободу индивидуальных действий, их совесть полностью переходит в категорию подсознательных факторов, все они прекрасно понимают, что малейшая ошибка в повседневной деятельности, малейший просчет или прояв-

ление личных чувств — и из судей они превращаются в подсудимых. Основой всех норм их поведения становится все та же, так ожесточенно критикуемая Марксом и марксистами, старая мораль утилитаризма, но в худшем издании. Действительно, не живет ли большинство всех этих «созидателей коммунизма» и блюстителей революционной законности по принципам холодного расчета, по старым принципам так высмеянного когда-то Марксом Иеремии Бен-тама, из философии которого удален принцип «максимизации счастья» т. е. стремления к достижению наибольшего счастья наибольшего количества людей, и заменен волчьим законом достижения личного временного призрачного счастья небольшого количества людей за счет страданий миллионов.

Нравственный кодекс старого мира отвергается большевиками за то, что там (по словам Маркса) «каждый заботится лишь о себе самом». Большевики всемерно пропагандируют миф о безусловной заботе партии и правительств о людях. Явственнее всего эти люди чувствуют заботу партии, подвергаясь аресту и отправляясь в концлагерь. Вот в этот то момент вероятно, у 95 проц. арестованных, исключая уголовных преступников, о которых в Советском Союзе не любят говорить открыто, действительно чистая совесть, так как почти никто не знает за что его, собственно, арестуют. А вот в каком состоянии находится совесть следователей и судей, подписывающих приговор, заранее зная, что осужденный ими человек невинен? Этот вопрос не ставится и не может ставиться ни в советской литературе, ни в философских статьях. На него имеется готовый ответ: «если враг не сдастся, его уничтожают». Но если данный индивидуум ничем не проявляет себя как враг открытий, а является лишь врагом потенциальным или, в ряде случаев, даже стремится быть лояльным по отношению советской власти, то как же может быть объяснено поведение его судей и палачей? Не лежит ли в основе его все та же старая «буржуазная» мораль утилитаризма или, в еще большей степени, чисто животный инстинкт самосохранения?

Именно этот тип человека-волка, во что бы то ни стало стремящегося податься по чужим головам, а часто и по чужим трупам вверх, должен быть идеализирован и выведен в качестве положительного типа нового человека сталинской эпохи, одушевленного идеалом построения коммунизма. Для него не может быть вопроса прав ли он — он поставлен партией на командный пост для проведения определенного задания, все остальные пытающиеся оказывать сопротивление, для него уже не люди: это враги, стоящие на дороге его личного возвышения или таящие в себе возможность его будущего низвержения в ничто — они должны быть уничтожены без пощады.

Все литературные герои безоговорочно делятся на две категории: одна — идеальные личности, образ которых нужен большевизму как маска: чем дальше отходят руководящие слои тоталитарного государства от общепринятого типа нравственного человека, тем идеальнее становится их положительный герой и тем больше разрыв между пропагандной этикой и действительностью, между литературными героями и их прообразами в реальной жизни. Вторая категория людей — это безликая масса, обязанная беспрекословно подчиняться большевистской команде; малейшая попытка отклонения от требуемого в данный момент человеческого стандарта и эти люди немедленно получают клеймо «врагов народа», «чужого элемента», и выставляются в качестве отрицательного, но не типичного для советской действительности явления.

Эта вторая категория распадается на две совершенно различных группы людей. Одни из них это те, которые составляют здоровое ядро русского народа; это те, которые возьмут на себя руководство организацией борьбы с большевизмом внутри страны. Это то ценное и светлое в народе, что не дает покоя партийным бонзам, то, что отказывается принимать все насильственно навязываемые каноны поведения, несмотря ни на какие суровые кары. Одной из важнейших задач современного русского свободного литературоведения является отыскание настоящего, реально существующего в современной России

положительного типа русского человека, освобождение его от всей отрицательной шелухи, которой покрывает его большевистская звериная ненависть.

Современная советская литература выводит подобных людей в качестве отрицательных типов, приписывая им, помимо основного «порока» — активного или пассивного сопротивления мероприятиям советской власти, — всевозможные отрицательные общечеловеческие черты — вплоть до неприятной наружности и отталкивающей манеры есть колбасу (Иконников в «Ясном берегу» Полевой). У многих советских писателей и драматургов заметна тенденция избегать показа подобных «отрицательных» типов из боязни чересчур реалистического изображения советской действительности. Последним словом партийной критики является требование описания и показа подобных людей, вопреки установившемуся в литературе и драматургии мнению, что «якобы не дозволено» изображение отрицательных (а с нашей точки зрения именно положительных) явлений советской жизни. Большевики желают внушить населению и самим себе, что они не боятся этих людей, а успешно борются с ними во всеоружии своего гигантского аппарата, «выкорчевывая из их сознания пережитки капитализма», нередко с самими носителями этого сознания.

Совершенно иная вторая группа отрицательных типов советской литературы и действительности, усиленно характеризуется большевиками как «нетипичный случай». Эти типы не только не перевелись в течение всех долгих лет большевистского господства, но и приобрели еще ряд специфических черт, порожденных или усиленных условиями тоталитарной власти. Многие из этих людей обладают двойной моралью — одной для всех, другой для себя. Многие из них имеют партийный билет в кармане и, несмотря на непрерывное «воспитательное» воздействие партийной организации, совершают такие поступки, которые даже советские журна-

листы вынуждены квалифицировать как аморальные. Некоторые из этих отрицательных типов даже осмеливаются заявить, что «взрослого человека нельзя исправить критикой или выговором по партийной линии. Ерунда! После 26 лет человек исправляется только внешне, а внутри — такой же...»

Все поведение таких людей, их отношение к окружающему, к женщине, к своим непосредственным обязанностям, подло, низко, эгоистично, недостойно человека. Если судить только по передовым советских газет, то можно подумать, что таких индивидуумов в Советском Союзе больше нет, что все «созидатели коммунизма» это особая каста нового издания сверхчеловека, лишенного всех крупных и мелких пороков. Однако, вторая и третья страницы тех же газет пестрят сообщениями о таких фактах, как описанный в фельетоне В. Соколова с юристом Силиным, отказавшимся от поддержания своего собственного ребенка, случай с юристом Шумафовым, который решил добиться славы путем подлога, анонимных писем, наглого обмана, случай с вернувшейся из эвакуации семьей убитого на войне солдата, выкинутой из собственной квартиры и в течение долгого времени подвергавшейся издевательствам и хулиганским атакам, занявшего ее квартиру предприимчивого субъекта, и т. п.

Откуда же берутся многочисленные, всем известные уродливые факты советского быта, наполненные ненавистью, страхом, грубым подавлением одних другими, когда одним дозволено все, потому, что они принадлежат к касте избранных и желают во что бы то ни стало удержаться на этом привилегированном положении, а уделом других является молчаливое страдание и сознание своей полной беспомощности и бесправности?!. Все эти явления происходят ежедневно и ежечасно, невзирая на многоречивые заявления о коренной нравственной переделке членов коммунистического общества. Если ничтожное количество вопиющих фактов по-

добного рода получает огласку, то они немедленно объявляются пережитками капитализма в советском быту; таким образом большевики снимают с себя ответственность за них и делают вид, что они никак к ним непричастны. Но откуда может проникнуть влияние капитализма в среду молодых коммунистов, вышедших из колхозной или рабочей среды, ничего, кроме советской действительности не видевших и воспитывавшихся в «коммунистическом духе?»

Все эти уродливые факты являются порождением дьявольской системы советских общественных отношений; они говорят о том, что пропасть между реальной жизнью и бестыдной пропагандой большевиков делается все глубже и глубже, все непреодолимей. И пресло-

вутая «высота духовного облика» советского человека, и «общественная ценность совершаемых им поступков», нужна большевикам лишь постольку поскольку это помогает им держать в беспрекословном подчинении миллионные массы народа и заставить его следовать их приказаниям.

Но напрасно пытаются палачи скрыть свое подлинное обличье, за всеми громкими словами о «коммунистической нравственности», напрасно стремятся они создать новый миф о сверхморальном создателе коммунизма, — сама советская действительность, советская литература, советская печать — все порождения большевизма обличают его и свидетельствуют против него же красноречивее любого обвинения.

..... *

Хемингуэй и Стейнбек

Два американских писателя, удивительно не похожих друг на друга, выделяются из массы других тоже талантливых писателей, но не таких «пленяющих». Этим понятием «пленяющий», или по западному «фасцинирующий», мы определяем творчество тех писателей, чей огромный талант держит нас как бы в плену. Не все может удовлетворять в их творчестве, даже не все может до конца нам нравиться, но мы пленены ими, мы околдованы. Хемингуэй и Стейнбек пленяют и околдовывают совсем по разному. Они живут и пишут в одно время, они оба родились в Америке, они почти ровесники, а кажется, что они совсем не знают друг о друге, никогда не читали друг друга. И, хотя писательская манера Хемингуэя слагалась во время его жизни в Париже и территориально действие его романов разворачивается почти всегда в Европе, на его манере не чувствуется влияния французских писателей, как мы это видим например у англичанина Сомерсета Моэма. Хемингуэй чисто американский писатель. Таким же чисто американским писателем по духу и по сюжетам является Стейнбек. Но оба они глубоко индивидуальны, обе натуры настолько богаты и огромны, что каждый из них занимает ведущее положение в литературе, и не только американской, но и мировой, вызывая бурю подражаний.

Эрнст Хемингуэй родился в 1899 году в Чикаго. Сама его жизнь не укладывается в обычные нормы. Он не может жить «как все люди». Благополучный интеллигентски-буржуазный быт не для него. Ему нужна авантюра, большой риск и большая жертвенность. 18 лет в 1917 году он уходит из уютной докторской квартиры своего отца и записывается добровольцем в санитарные

части, отправляющиеся на европейский фронт, в Италию. Первые военные впечатления, вплоть до его ранения, полученного им при спасении раненых на передовых позициях, связаны с итальянским фронтом и отражены в одном из его первых романов «Прощай оружие» и как некоторое воспоминание проходят в последнем его романе «Через реку в деревья». Хемингуэй очень субъективен и романы его — автобиографичны. Отсюда необычайная свежесть его творчества, неотделимого от его личной жизни. Первый опыт фронта дан в романе «Прощай оружие», вышедшем в 1927 году, послевоенная жизнь и настроения в Европе в романе «Фиеста» (1925 год), поездка военным репортером в Испанию во время гражданской войны дала наиболее значительный его роман «По ком звонит погребальный колокол» (1940 год) и вторая Мировая война, в которой он тоже принимал участие, формально в качестве корреспондента, а фактически, организовав партизанское анти-гитлеровское движение во Франции, подходит ретроспективно в его последнем романе «Через реку в деревья» (1950).

Творчество Хемингуэя это пережитая им самим жизнь. Его романы — не стройные архитектурные композиции, а вырезки из жизни, часто с неуравновешенными частями. Его романы это его плоть и кровь и, главным образом, кровь. Это сама жизнь, которой сейчас же начинаешь жить, как только начинаешь читать его вещи: видишь, слышишь, обоняешь, чувствуешь на вкус. То это завтрак хлебом, луком и салом за пулеметом, после случайного избавления от смерти, то это бегство в лодке по озеру в Швейцарии, то это стройная фигура девушки итальянки с летящими по ветру волосами на горбатых мостах

осенней холодной Венеции, то это груды рыбы и мяса на Венецианском ба-
заре.

Но эта жизнь ценна для Хемингуэя лишь при нависающей угрозе смерти, почти всегда героической и жертвенной. Мы видим именно эту психологическую ситуацию в его вещах: ранение Роберто во время погони за ним и за группой партизан и его раздирающее прощание с полюбившей его партизанской девушкой Марией («По ком звонит погребальный колокол»), смерть Кэт от родов, после конца войны и всех испытаний («Прощай оружие»), последствия ранения Джекоба Барнса, не дающее ему возможность соединиться с любящей его девушкой («Фиеста»), смерть Харри от гангрены ноги в сердце Африки в тот момент, когда самолет, посланный за ним его женой уже прилетел взять их на ближайший медицинский пункт, в изумительном рассказе-поэме о смерти «Снега Килиманджаро», угроза нависающей смерти от грудной жабы пожилого американского полковника Контузэлла, проделавшего вторую мировую войну, в момент высшего напряжения его безнадежной любви к молоденькой красавице итальянке, графине Ренате («Через реку в деревья»).

И так первая литературная композиция Хемингуэя это романтическая любовь, полноценная и глубокая, в аспекте смерти. Любовь всегда стоит в центре его романов, поэтому они так полны быющей, пульсирующей жизни. Социальная ситуация это фон. Война — вторая композиция: война и ее настоящим — в ужасе и неизбежности, в истинной храбрости, в героике, в хитроумном движении огромного живого механизма, в прямом ином взгляде на вещи, в безоговорочной дисциплине, («Все, что я умею это только повиноваться» слова полковника Контузэлла), или война, как сумма порожденных ею явлений: ранение, болезни, подрывание веры во что-бы то ни стало, т. е. то, что породило тип так называемого «потерянного поколения» (Фиеста).

Хемингуэй верен раз выработанному типу главных героев: мужчина — мужественный, храбрый, огрубевший от войны и несколько циничный, однако добрый и героический. Женщина — воплощение женственности, нежности,

безграничной любви и самопожертвования. Кэт и я — «Прощай оружие», Мария и Роберто — «По ком звонит погребальный колокол», Рената и полковник Контузэлл — «Через реку в деревья», отчасти Хелен и Харри — «Снега Килиманджаро». Есть колоритные фигуры большой эпической силы: Пилар, старая испанка, начальница партизанской группы и участница самосуда над населением своей деревни («По ком звонит погребальный колокол»), простак-парень Андре из ее же группы партизан, весь связанный с деревней, лесом, рекой, случайно всунутый судьбой в ряды партизан и полный мирными деревенскими интересами (там-же).

В жизни, а следовательно и в своем творчестве, Хемингуэй человек честный и жертвенный. Он не политический деятель и не религиозный мыслитель. Однако в его испанском романе, насыщенном смертью, все персонажи перед которыми стоит смерть, будь они республиканцы или франкисты обращают лицо свое к Богу, и, умирая, читают «Отче Наш». У Хемингуэя большая совесть и большая наивность. Он по натуре своей человек тыла. Он считает себя обязанным помогать там, где это нужно. И он помогает, и личным своим участием, и (см. его биографию Малькольма Каули). деньгами и разными другими акциями. Однако он не всегда разбирается в сложной мировой ситуации и только «вложение перстов», т. е. его непосредственное соприкосновение с гражданской войной в Испании поучает и отвращает его (смотри описание штаба республиканских сил сосредоточенных в одном из больших отелей Мадрида, где имеются и коммунисты из Москвы, а также описание боевого аппарата республиканцев в романе («По ком звонит погребальный колокол»). Любопытно, что в последнем его романе имеется следующий разговор между коридорным одного из отелей в Венеции, итальянцем Арнальдо, и полковником американской армии «Что вы думаете о русских, извините за нескромный вопрос, полковник?» — «Они нации потенциальные враги. И как солдат я готов сражаться с ними. Но они мне очень нравятся и я считаю, что они лучше всех других народов и очень похожи

на нас. («Через реку в деревья», глава 7.)

Его приемы: Хемингуэй имеет особую манеру письма. Эта манера упорно выработывалась им в течение многих лет. Он, как и некоторые другие писатели его эпохи вроде Хенри Джеймса, Вирджинии Уулф и Джемса Джойса подает своих героев, их наружность и характер через их мысли, а главное, разговоры. Романы Хемингуэя — это сплошные диалоги. Иногда это бывает монолог (рассказ Пилар о самосуде), а иногда цепь мыслей какого либо героя (мысли партизана Андре когда он идет с поручением в штаб). Между разговорами дается лишь протокольное перечисление необходимых фактических данных, близкое к ремаркам в драматическом произведении. Все нагнетение чувств и даже событий передается в разговоре, лишенном, однако, всякой эмоциональной экспрессии. Некоторые предметы разговора передаются через прием отстранения. Структура его речи нарочито-упрощена и обманчиво примитивна. Читатель должен усиленно напрягать мысль, читая его роман, чтобы вылавливать самое главное и тонкое из нарочито-простого и незначительного и глубоко-трагического — из мелкого и пустякового.

* * *

Джон Стейнбек, родился в 1902 году в городе Салинас, в Калифорнии. После недолгого пребывания в Нью-Йорке он снова возвращается на свою родину, к которой он принадлежит всеми своими личными корнями и корнями своего творчества. Обычные его герои — это население калифорнийского побережья, т. наз. «пейзанос», смешение испанской, индейской, мексиканской и кавказской крови. Кормятся они, по преимуществу, морем: рыболовством и работой на рыбо-консервных фабриках, разбросанных по побережью, а также иногда батрачеством на близ лежащих фермах. Беспечны и ленивы как и подобает жителям жаркого климата и неразлучны с глиняным кувшином, наполненным местным молодым вином. Стейнбек их хорошо знает, так как до того времени, когда успех его повести «Тортилла Флэт» дал ему средства к существованию, он сам работал среди них. «Тортилла Флэт»,

вышедшая в 1935 году описывает жизнь некоторой части этих «пейзанос», бродяжек, воришек и бездельников, неразлучных со своими кувшинами, хитрых и изворотливых в добывании себе пищи и вина, совершенно безразличных к одежде и обстановке, и по детски простодушных. У них есть своя мораль, большое чувство товарищества, но их мораль не распространяется на отношение к соседским курам или к жене соседа. Кроме «Тортилла» еще две книги Стейнбека посвящены описанию подобного же народа: «О мышлах и людях» (1937 г.) и «Кеннери Роу» (1945 г.). Первая из них, написана Стейнбеком, как эксперимент: он пытался насколько можно приблизить повесть к драме. Вещь эта с успехом шла на сцене и переделана для кино. По замыслу своему вещь эта трагическая. Вторая, наоборот, вся пронизана весельем, здоровьем и неудержимым смехом. Несмотря на подлинный юмор Стейнбека, он, описывая весь этот люд, ищет, находит и мастерски подает черты большой и настоящей человечности истинного «света». В этих вещах, в которых Стейнбек заставляет своего читателя смеяться до боли в боках, мы находим перлы истинной, первичной нравственности, поднятой автором до патетической высоты. Чтобы дать цивилизованному, умытому, ограниченно-мещанскому обществу особо-звонкую пощечину он показывает нам людей совсем безумных, не скованных не только никакими условностями цивилизации, но даже лишенных хитроумного, практического и почти всегда сквернонаправленного ума взрослых людей. Стейнбек доходит до того, что в младенческом безумии рваного бродяги «Пирата», окруженного своими друзьями собаками («Тортилла Флэт»), он дает такую чистую и высокую душу, которая даже бесчестных воришек и прожженных жуликов заставляет понимать высшие духовные ценности. За спиной же детски-чистого «Пирата» стоит сама святость. Во всем своем житейском убожестве и безумии он во много раз ближе к божественному началу, чем все культурное, отшлифованное, «умное» общество. С этого общества Стейнбек окончательно и безжалостно срывает покрывало цивилизации в своем романе

«Заблудившийся автобус» (1947 г.). Он заставляет, при известном стечении обстоятельств, эти умытые личики вдруг захрюкать и зарычать. А в другой повести «О мышках и людях» — Джордж, грубый, необразованный парень постоянно теряет работу и попадает в самые нелепые и рискованные ситуации из-за своего слабоумного приятеля Ленни. Тем не менее, он считает себя не в праве бросить его на произвол судьбы и заботится о нем, как нянька. Это отношение настоящего, крупного человека. Когда, в конце концов, при создавшейся трагической ситуации, Джордж своими руками убивает слабоумного друга, чтобы спасти его от излишних мучений и издевательств разъяренной толпы, это, в разрезе его психологии, является актом большой человечности. В своем самом большом романе «Гроздь гнева», вышедшем в 1939 году, за который он получил пулицеровскую премию, Стейнбек дает трагическую народно-семейную эпопею. Семья фермера, изгнанная с арендуемого и насиженного клочка земли эмигрирует в Калифорнию в поисках заработка. В центре всех катастрофически-развертывающихся событий стоит изумительный по человеческой высоте образ матери. Если в «Тортилле» и «Кеннери Роу» Стейнбек описывает бездомных бродяжек, без роду и племени, то в романе «Гроздь гнева» он дает настоящую крепкую семью с умной, волевой и героической женщиной во главе, женщиной, которая не только энергично и не по женски-мудро ведет души своих взрослых и трудных детей, но и простирает свое истинно материнское начало за пределы своей собственной семьи. «Гроздь гнева» можно назвать апофеозом материнства, в самом высоком смысле этого слова.

Стейнбек остромный мастер психологического портрета и это самое важное в его творчестве. Он, как и Толстой, умеет подать одинаково сочно, полно-красочно и потрясающе реально и женщину-мать, ведущую семью в трагических обстоятельствах («Гроздь гнева»), и голодную девочку, дерущуюся из-за коробки сухарей (там же), и выжившего из ума жадного до еды старика-деда (там же), и семнадцатилетнего подростка, обуреваемого известными потребно-

стями («Заблудившийся автобус»), и слабоумного бродягу «Пирата», откладывающего весь свой скудный заработок на свечу св. Франциску, в обет за выздоровление больной собаки («Тортилла Флэт»), и пьянчужку Мэка, преданно любящего доктора с биологической станции («Кеннери Роу»), и самого доктора, с бесконечно доброй и простой душой, полностью потруженного в свои морские звезды, осьминоги и пр. (там-же) и истеричку, жену шоффера Жуана Чакоя (Заблудившийся автобус) и студентку из колледжа с нездоровым сексуализмом («Заблудившийся автобус») и пожилую приличную даму с убогими мыслями (там-же) и содержательницу публичного дома, красноволосую деловую даму, не лишенную хороших порывов («Кеннери Роу»), и даже собак и кошек: пять собак бродяги «Пирата», следующих всюду за ним, как охрана его простоты и безумия, и переживающих вместе с ним все вплоть до религиозных состояний, это целая собачья симфония.

За исключением последней вещи («Заблудившийся автобус»), где Стейнбек как бы умышленно собирает в одном автобусе всякую людскую гадость и напихив, все другие его произведения характерны тем, что в них даются настоящие человеческие чувства и поступки, высокие и пленительные не взирая на то милье где они возникли, захватывающие в радиус своего действия многие другие персонажи. Стейнбек дает тот «свет», который является единственно ценным в жизни. Здоровый дух Стейнбека, в противоположность разлагающейся Западной Европе, с ее талантливо-извращенными представителями вроде Кокто, дает эти крепкие островки «света», без которых литература заходит в тупик, и по существу, не нужна человечеству.

Его приемы; манера Стейнбека — манера современного реалиста. Он спокойно, деловито и очень выпукло описывает все житейские мелочи. Вещи живут сами по себе, не характеризуют героев и их душевное состояние. Мир вещей спокоен и самодовлеющ: колят и солят свинью в семье Джоудов, перед отъездом из дома («Гроздь гнева»), чинят, или проверяют авто-машины со всеми техническими подробностями

(«Гроздья гнева») и («Заблудившийся автобус»), мухи ползают по прилавку бара, тарту и столиками («Заблудившийся автобус»), рычит огонь в старой ржавой печке нагревая воду для обитателей дворца-ночлежки, клеенного кокакольными девицами («Кеннери Роу»), в океане живут различные морские животные (там-же) и т.д. и т.д.

В «Гроздьях гнева» Стейнбек несколько отходит от своей обычной манеры, внося между глав самого повествования некоторые интерлюды. В этих интерлюдах Стейнбек дает некую общую имперсональную картину трагедии людей, выброшенных из экономической жизни страны: случайные климатические изменения дают плохой урожай арендованных земель, лица скрывающиеся за фирмами и компаниями решают заменить живых работников тракторами, изгнанные люди своими силами, почти без денег эмигрируют в Калифорнию, надеясь найти заработок на фруктовых плантациях, заработка не хватает на жизнь, начавшиеся ливни затопляют людское жилье и т. д. и т. д. Манера этих

интерлюдов иная, не реалистическая, а некая суммарная и абстрактная. Язык более ритмический. Благодаря художественной выразительности эти интерлюды очень усиливают и обобщают впечатление от всей вещи.

* * *

Суммируя все сказанное об этих крупнейших писателях современности, хочется в двух словах подчеркнуть суть каждого: Хемингуэй — натура сложная и тонкая. Его творчество оригинально, свежо. Большая рука мастера чувствуется за кажущейся простотой его романов. Он крайний индивидуалист, личная жизнь его героев, т. е. его самого, для него важнее всего. Он полон героики и желания жертвы, без четкого осознания конечной цели.

Стейнбек проще и яснее и несколько стандартнее в своих приемах. Его сила в его необыкновенном проникновении в людскую психологию. Но самое замечательное в нем это его искание высших, непреходящих ценностей, которые он видит за обычными явлениями повседневной жизни.

***** * *****

Пионер современной живописи

Когда Серов, Левитан, Малявин и Коровин открыли волшебство игры красок, в классе «старика» Ильи Репина в Петербургской Академии появился новый ученик: 29 летний Алексей Явленский. Он повесил на гвоздь свой солдатский мундир, чтобы сделаться художником. После трех лет академического обучения, молодой художник не мог больше оставаться на берегах Невы. Он переменил место жительства, предприняв со своими друзьями Д. Кардовским, И. Грабарем и М. Веревкиной путешествие в Мюнхен, являвшийся в то время, наряду с Парижем, ведущим центром искусства запада. Это был 1896 год. Франц фон Штук находился в зените своей славы. «Параллелизм» Годлера и стиль «югенд» занимали умы в Афинах на р. Изар. Это была эпоха искания новых основ в живописи. Ван Гог за семь лет до того окончил свою стремительную карьеру художника добровольной смертью. Тулуз Лотрек, Гогэн и Сезанн были известны в Германии только по именам. Но в художественной школе «Ацетбе» на Швабинге велись оживленные дебаты по поводу ведущей линии и ведущей формы. «Мы, русские художники», повествует свежее-испеченный мюнхенец Явленский, «составляли в школе Ацетбе свою особую партию, держались вместе и много работали. Настроение всегда было оживленным, веселым и дружелюбным. Мы все воспринимали критически и вносили в школу свежую струю».

В том же году в Мюнхене появился соотечественник Явленского, Василий Кандинский, которому предстояло через несколько лет превратить ветер в ураган. 30-летний москвич, он, подобно Явленскому поздно посвятил себя искусству. Но оба они — бывший капитан

царской гвардии и бывший юрист — были одержимы фанатической верой в искусство и преисполнены страстной преданности своей художественной миссии. Хочется рассматривать прямо как волю судьбы, что писатель «ликов Спасителя» и художник беспредметных «имаго» (картин) пережили решающую фазу своего развития именно в Мюнхене.

Авангард молодой русской живописи на рубеже столетий сосредоточился в западных центрах искусства. Что-то новое, волнующее ощущалось в воздухе. Д. Бурлюк, Ларионов — отец «районизма», Гончарова, П. Кузнецов, Якулов, Каuchaковский и Машков принимали решающее участие в манифестациях новой живописи в Париже. Кандинский, Явленский, Марианна Веревкина, Владимир Бехтеев и В. Бурлюк плечо к плечу со своими немецкими друзьями Францем Марк, Августом Маке, Пауль Кле, А. Кубин и другими ратовали за новый язык формы.

Но время еще не подошло. Молодые художники школы Ацетбе еще восторгались арабесками стиля «Югенд». Кле и Кандинский работали в классе живописи нео-классициста Штука, в то время как Явленский делал первые самостоятельные шаги работы на полотне в своем ателье на Гизелаштрассе. Это были годы нащупывания, неуверенности и экспериментирования, в которые он писал, главным образом, натюр-морты в темных тонах. Молодые художники его круга восхищались, а сам он говорил: «Когда я, наконец, достиг того, что мне нравилось, это перестало нравиться этим художникам». От 1903 до 1906 года Явленский принимал участие в выставке Мюнхенской и Берлинской группы художников «Сецессион». Он посылал свои картины в парижский «осенний»

салон и на ежегодную выставку русских художников в Петербург. Первое знакомство с картинами ван-Гога и Сезанна произвело на него глубокое впечатление, как и на всех, ищущих нового в живописи. «Его способная восторгаться душа легко воспламенилась от огненного письма ван-Гога и от одухотворенной ясности Сезанна. Но они были лишь вратами, открывавшими ему свою дорогу», писал позже о великом тех дней один из его биографов.

Это было судьбоносное время для живописи. «Дикие» в Париже дали в 1905 году, под предводительством Генри Матисса, свое первое сражение за эмансипацию краски. Три года спустя Брак и Пикассо написали свои первые кубистские картины. В 1909 г. Явленский и Кандинский окрестили новое объединение художников в Мюнхене. Замечательно, что половина членов-основателей «НКФау» были русские. Первая выставка новой группы вызывает жаркий обмен мнениями в публике. Все вдруг начинают говорить о Явленском. В своей книге «Новые картины» Отто Фишер уже тогда отметил творчество Явленского. «Его особенность», пишет он, «это — краска; ее текучесть, ее цветущие, задорные модуляции, ее стихийная сила таят в себе что-то необыкновенно живительное. Очаровывающие натюр-морты... в ландшафте выражено особое настроение — метко, своеобразно и часто с большой простотой. В его головах и половинных фигурах духовное схвачено в мгновенном. Самое искусство для этого художника имеет обаяние жеста, духовное получает непосредственное выражение и тем самым повсюду проявляется творческая способность импульсивной натуры, обязанной своим лучшим инспирации мгновения.»

Несколько лет спустя, в декабре 1911 года, Явленский принимает участие в достопамятной выставке «Синие всадники» в Мюнхенской галерее Тангаузер вместе с Францем Марк, А. Маке, Кандинским, Габриеле Мюнтер, В. Бехтевым и другими. Этот столь многозначущий для молодого искусства Германии год приводит Явленского, по его собственным словам, к решительному шагу и к собственному стилю. До нача-

ла первой мировой войны его творчество созревает до «высоты, которая не могла быть превышена — только повторена», как признавал сам художник. Любящий путешествия художник проводит чудное время в Прерове на Балтийском море. «Здесь я написал мои доселе лучшие ландшафты и большие фигурные работы в очень жарких тонах. Это было поворотом в моем искусстве.» Его ставшие с тех пор знаменитыми картины «Горб», «Женщина с веером», «Сицилианка», «Фиолетовый тюбан», «Фантастическая голова» и другие полотна того времени объединяют в себе подобный камням свет икон, колористику «Диких» „Fauves“ и сведенное к существенному оформление экспрессионистов. Художник принимает участие в выставках Немецкого Союза Художников, специальной Кельнской выставке, выставке Кружка Художников Дрездена (В 1912-1913 г.г.) в тот период он был связан тесной дружбой с Клэ, Кубином и Нольде, с художественным порывом и непосредственностью которого у него было много общего. Круги коллекционеров начинают обращать на него внимание, музеи и частные лица покупают его картины.

Для человека, и для художника — Явленского война явилась поворотным пунктом. Монотонность дней в ссылке в Санкт-Прекс на Женевском озере, давящее одиночество решительно повлияли на внутреннюю концентрацию столь жизнерадостного ранее художника. Часами он задумчиво смотрит через окно на горный ландшафт: ель, рядом с ней — дом, перед ним — кусты и ограда. Этот ландшафт передает ему настроения сменяющихся времен года, ночи и дня, траурной и праздничной природы. Он схватывает ее своей кистью в совершенно абстрактных формах. Основной элемент овала регулярно встречается в этих картинах, которые он называет «вариации». Творческий, погруженный в раздумье дух Явленского различает по ту сторону видимой действительности скрытое за и между вещами и, присущую им закономерность. Этот ландшафт перед его окном, по которому «душа его ходила гулять», стал символом душевного состояния, ландшафтом жизни, упрощенной фор-

мой, превратившейся в картину. Около 400 рисунков было создано в эти годы затворничества и внутреннего собирания.

В Асконе, куда за это время переселился художник, его внезапно вновь охватывает тоска по изображению человеческого лица. Лица, являющегося не только носителем индивидуального и типичного, но самого человеческого лица. На своем пути через «Вариации» из Санкт-Прэ художник открыл внутреннюю структуру чистого рисунка, которая, начиная с этого времени, определяет все его дальнейшее творчество. «А затем стало необходимым найти форму для лица, ибо я понял, что большое искусство может писать только с религиозным чувством.» Из этого познания рождаются — «Мистические головы», «Лики Спасителя» и «Абстрактные головы». Носители настроения и основа экспрессии — овал, линия, куб и круг, форма и краска. Позднейший ряд этой серии картин стоит целиком под знаком упрощения, от чего он еще более выитрывает в правдивости, сгущенности и силе излучения. «Искусство, как стремление к Богу», нашло свое действительное отражение в позднем творчестве Явленского.

Лишь в 1921 году художник вновь возвращается в Германию из Асконы и поселяется в Висбадене. Теперь он рисует головы и портреты все меньших форматов, изредка и натюр-морты. В 1924 г., вместе со своими товарищами-художниками Клэ, Кандинским и Лионелем Фейнингером, они создают группу «Четыре синих», передвижные выставки которых получают сильный отклик и в Соед. Штатах. Берлинская картинная галерея Ф. Меллер устроила осенью 1929 г. последнюю перед смертью художника коллективную выставку, ибо художники-профаны третьего Рейха причислили и Явленского к категории «выродившихся» и объявили ему запрещение писать. Тихо стало вокруг художника «вариаций» и «абстрактных голов». На третьем году войны, 15 марта 1941 г., он отошел после долгой болезни в вечность.

Явленский был русским всем своим существом. Он был им и в своей живописи. Его творчество свидетельствует о той силе, которая объединяет «чувственно-нравственное воздействие краски», как его называл Гете, с вещественным выявлением большой, упрощенной формы. Вместе с Кандинским он является одним из основных столпов живописи 20-го века.

***** *

БИБЛИОГРАФИЯ

Зарубежная литература

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» № XXV. Нью-Йорк, 1951.

Общее впечатление от исключительно удачного подбора материала: в номере неинтересных и неталантливо написанных вещей вообще нет. Именно в силу этой талантливости особенно ярок и контраст между живыми и неживыми людьми в произведениях нескольких авторов.

Продолжение повести Н. Берберовой «Мыс бурь» как отрывок, не дает представления о замысле, а только общий тон: гравюрными штрихами скупого и четкого рисунка чрезвычайно живо показаны совершенно неживые люди. Они мертвы не потому, что таких не бывает, а по существу, как целлулоза, через которую жизнь отбрасывает незадерживающиеся изображения, и сама целлулоза не звенит и не блестит, хоть бы как самое дешевое стекло. «Но что можно поправить, когда в нас вселился дух разрушения, и он ломает и разбрасывает все, и разрушение это — естественно, а всякое создание, всякая гармония для нас противоестественны?»

Да, при таком сознании действительно ничего нельзя сделать и со всеми остальными «не» и «ни». Даже в героях Н. Воинова «Беспризорники», при всем ужасе растления, этой живой душевности не в пример больше.

А вот Ф. Степун — «Москва накануне войны 1914 года» — блестящий, умный Степун — лепит свои портреты по сценически скульптурно, и эта статья похожа на спектакли Художественного театра — одна Мариана Цветаева чего стоит! А вот Ю. Елагин — «Театр имени Вахтангова» — на нескольких стра-

ницах заставляет читателя переживать те же восторги, от которых у него замирало сердце, если он имел счастье видеть эти спектакли. И Е. Замятин — «Встречи с Б. М. Кустодиевым» говорит: ... «А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна... говорил, подшучивая над собой: «Ноги — что... предмет роскоши. А вот рука начинает побаливать — это уж обидно...» И М. Добужинский — «Деревня» рисует, на этот раз, словами, так много понятного и близкого каждому. Есть же ведь, есть и живые, настоящие люди, и как хорошо о них пишут!

Н. Валентинов — «Чернышевский и Ленин» и М. Вишняк — «Израиль» — дают, каждый о своем, очень много интересного материала, напоминая и заставляя призадуматься над многим, что, к сожалению, забылось.

Нашумевшая статья Д. Кеннана «Америка и русское будущее», помимо своего громадного политического значения показывает, что для правильной оценки и понимания исторических процессов важна не национальность, а ум и здравый смысл. Явление такое же отрадное, как и редкое.

Довольно бледен на этот раз отдел стихов. Интересно и оригинально стихотворение «Устами Гамлета» Юрия Джанумова. Иван Елагин дал только три вещи: первое очень сильное и сжатое восьмистишие, второе — полудекламация, полупроза, а третье — неудачное «маяковское». «Октавы» Александра Неймирока отрывочны, и наряду с гулкой медью, есть в них и скрипящее ржавое железо. Стихи Д. Кленовского — простые и теплые, написанные человеческим сердцем. Отдел стихов заканчивается Игорем Чинновым — стихи у него легкие и четкие, как полет стрижа, и также тонут — в голубом, чистом и дальнем.

Игорь Липовецкий

Советские журналы

«ОКТАБРЬ» — литературно-художественный и общественно-политический журнал. Орган Союза Советских писателей. 1 книга-январь: 2 книга-февраль 1952 г. Изд-во «Правда». Год издания XXIX. Обе книги по 192 стр.

Так сказать «гвоздем» обеих — январской и февральской — книжек является роман Григория Свирского «Здравствуй, университет!», изготовленный чутким к требованиям партии автором в рекордный краткий срок. Давно ли, кажется, был развенчан академик Н. Маар и Иосиф Виссарионович начертал линию истинного пути советского языкознания, — а уже на эту тему готов, пошел искусом огнем и железом коммунистической цензуры и напечатан целый роман. Произведение это датировано, впрочем, 1947-48, 51 г.г., следовательно, перестройка производилась, как говорится, на ходу.

В романе есть и любовная интрига (положим, слишком незамысловатая), и быт советских студентов — в немалой части — демобилизованных военных, — и картины роста Москвы, и неукоснительный «показ» широты круга культурных интересов советской интеллигенции и многое другое, требуемое правилами советского бонтона и «социалистического реализма». Герои романа наделены положительными и отрицательными качествами в принятой стандартной рецептурой пропорции: один и смел и умел, да робок с девушками: другой предан партии и науке, но на беду опрометчив (хотя впоследствии, конечно, исправится). Есть и похуже, есть и вовсе так-себе, ни рыба, ни мясо. Есть и вовсе черные. К таковым относится главный носитель марровского зла, профессор снабженный неблагозвучной фамилией — Тюхловский.

Автор поставил себе задачей показать, что сталинская эскапада против Марра не появился внезапно, или по украински «як Пилип з конопель», а была неизбежным логическим следствием того возмущения, которое давно на-

зревало в сердце советских языковедов по отношению к учению догадавшегося заблаговременно скончаться творца яфетической теории.

Теоретические вопросы волнуют выведенных в романе лиц выше всякой меры, волнуют настолько, что поверить в это волнение совершенно невозможно... если не вспомнить, что в советской действительности от теоретического уклона или «вывиха» воистину только один шаг до вполне практической — каторги. Подлинным трагизмом веет поэтому от сцены конечного разоблачения марриста Тюхловского...

В спорах на научные темы то и дело проскальзывают выражения: «гибель», «снять голову», «душа вон» и т. п.

Комсомольцы в романе бесконечно бодры и восторженно оптимистичны. Милая девушка доносит на милую подругу, неосторожно признавшуюся ей, что пропустила свои агитаторские занятия с беспартийными старушками. Доносит и говорит при этом: «скрывать подлость — тоже подлость».

Американские корреспонденты, как и полагается прислужникам Уоллстрита, «бегут» от «слишком прямых» вопросов советского студенчества.

В романе учтены, очевидно, негласные указания на отрицательные результаты слишком усиленного склонения слова «Сталин» — сей корифей науки упоминается редко — но метко.

Художественная ценность романа Г. Свирского, полностью отсутствует, но прочесть его ради того, чтобы освежить ощущение подсоветского «климата» — очень и очень полезно.

Стихи Сергея Смирнова, Александра Коренева, Николая Криванчикова, Ивана Пиняева, стихотворные переводы из Саввы Головановского (с украинского — Б. Иренина) и Назыма Хикмета (с турецкого — Павла Железнова) литературно-грамотны, а смирновские даже звучны.

Публицистика № 1 — «Волго-Дон» Георгия Притчипа, «На Ленинских горах» Бориса Яранцева, при казенном однообразии, набившем оскомину с давних пор, представляют интерес приводимыми цифрами, дающими понятие о циклопических размерах пресловутых «строек коммунизма», крайне типичных

для режима, старающегося поразить воображение местного и особенно иноземного наблюдателя. То же можно повторить и об очерке Анатолия Медникова «Люди покорившие Дон» (в № 2).

Гоголевскому юбилею посвящена в № 1 статья М. Храпченко «Драматургия Гоголя» и в № 2 — статья Л. Мышковской «Работа Гоголя над образом и словом» в которой напрасно было бы искать основательного анализа гоголевских творческих приемов.

Все же нельзя сказать, что статьи рядят Гоголя в коммунистические одежды, — и на том спасибо.

Из раздела критики и библиографии нельзя пройти мимо замечательной в своем роде статьи К. Зелинского «Второе рождение романа Молодая гвардия», где подробно поведствует, как А. Фадеев учел, указания газеты «Правда» и проворно переработал свой роман.

Юр. Большухин

«ЗНАМЯ» — орган Союза советских писателей СССР, № 1-й и 2-й, январь-февраль 1952.

В двух номерах журнала около четырехсот страниц. Почти половина из них предоставлена произведениям, которые живописуют «американских поджигателей войны». Таковы очередные продолжения нового романа И. Эренбурга «Девятый вал» и «Заметки публициста» Д. Заславского, статьи — рецензии «Лицо захватчика» и «Американские рабовладельцы», сатирические стихи С. Маршака и Н. Грибачева.

Это, так сказать, стопроцентные антиамериканские творения, а фрагменты можно отыскать чуть ли не на каждой журнальной странице: в статье генерал-лейтенанта В. Воробьева «Советская армия — армия-освободительница», в статье Ц. Дмитриевой «Молодая Германия» и др.

Роман Эренбурга — это, несомненно, «гвоздь программы». В нем, так сказать, персонализированы чуть ли не все варианты газетных нападок на «империалистов США» и газетных же гимнов «советским людям». Перед читателем проходит длинной вереницей ряд «растленных американцев» и прочих «вра-

гов народной демократии», в том числе и российских эмигрантов. В эту вереницу шпионов, диверсантов (они же — алкоголики, развратники и т. п.) вставлены местами фигуры «прогрессивных деятелей», или только начинающих понимать вкус этого «прогресса».

Совсем иными выглядят в романе советские персонажи. Это — тоже вереница, но вереница «борцов за мир», безукоризненных не только идеологически, но и морально. Однако, для того, чтобы придать роману видимость «жизненной правды», автор осмеливается и в портреты некоторых «советских людей» внести черточки «пережитков капитализма».

«Девятый вал», очевидно, задуман, как своеобразная литературно-художественная энциклопедия политической жизни «двух миров». Автор романа — безусловно один из лучших, если не лучший, большевистский мастер искажения действительности средствами искусства. Но, как свидетельствуют об этом главы романа, и ему не удалось исказить ее настолько искусно, чтобы мало-мальски вдумчивый читатель не смог этого заметить.

Остальная художественная проза (рассказ «Дуся» Анны Вальцевой и «Магистральная горка» Николая Атарова), собственно, дополняют «Девятый вал» в той его части, где речь идет о «чудесных советских людях».

Цикл стихов Миколы Бажана поражает своей низкопробностью, неприкрытой тенденциозностью. И по форме стихи убоги, хоть и перевели их с украинского такие мастера, как Павел Антокольский и Николай Заболоцкий (снова выплыл!).

Единственным отрядным исключением из всего журнального материала является, пожалуй, статья Корнея Чуковского «Гоголь и Некрасов», автор которой и на этот раз сумел обойтись минимальной дозой марксистско-ленинской вульгаризации.

А в общем, оба номера журнала «Знамя» — это только литературное прибавление к советским газетам. Не больше.

М. Коломацкий

«ЗНАМЯ» — орган Союза Советских Писателей СССР № 3, март 1952.

Весь отдел беллетристики мартовской книжки «Знамя» состоит из многостраничной главы романа Ильи Эренбурга «Девятый вал», обрамленной стихами: с одной стороны Степана Щипачева, с другой — Михаила Дудина.

Хотя конца романа еще не видно, но он несомненно уже успел утомить читателя. «Девятый вал» сделан по принципу гусарской жженки, когда в таз сливают остатки всех напитков и усыпают эту смесь головой сахара. Илья Эренбург в своем произведении собрал разношерстных персонажей — генералов, солдат, инженеров, коммунистов, шпионов, любовниц, немцев, французов, чехов, американцев. Роль сахарной головы выполняют до предела правдоверные советские люди, герои войны.

Имея в прошлом исключительно богатый опыт в том смысле, как подходит советское руководство к политизированным произведениям (ведь почти все книги Эренбурга — «Хулио Хуренито», «Трест ДЕ», «Любовь Жанны Нэй», «Жизнь и гибель Николая Курбова» и др. — в сущности конфискованы), автор на этот раз изо всех сил старается сделать роман «выдержанным». Виртуозно балансируя, он пытается пройти по канату, который именуется генеральной линией. И это старание делает книгу не интересной, путанной, утомляющей.

Бесспорно даровитый Степан Щипачев в данном случае выступил со скучным циклом стихов «По родным и чужим морям». В них много идеологии, много неубедительных упоминаний о любви к родине и полное отсутствие запоминающихся строк.

Из четырех стихотворений Михаила Дудина лишь одно «Реки» имеют пару удачных строк. Остальные на редкость бездарны и безвкусны как, например:

«Щипали козы низкую траву,
Радиоклуб транслировал Москву.»

Дальше — бледный, но длинный очерк В. Величко «Коммунисты Волго-Дона». Такими очерками пестрят номера всех советских газет. В большом журнале он совершенно не нужен, это — дань партийному заказу.

В отделе публицистики Д. Заславский дал «Волнующие цифры побед социализма», в которых нет не только ничего волнующего, но даже просто читабельного. Протокольная статья об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР суха и безвкусна, как маца.

А вот как-будто настоящее искусство — статья народного артиста Голованова — «Музыка и какофония». Однако напрасны ожидания — весь смысл статьи заключается в одной фразе: «В СССР — музыка, в Америке — какофония».

В том же антиамериканском духе, но в форме более развязной и менее корректной сделан статистический отдел.

Заканчивается журнал библиографическими заметками, ратующими за «полезный и нужный жанр» и юбилейными статьями о Н. В. Гоголе.

В целом же прочтя журнал можно сказать словами этого же великого юбиляра: «Скучно жить на этом свете, господи!»

А. Г.

«НОВЫЙ МИР» — орган Союза Советских Писателей № 1-й и 2-й январь-февраль 1952.

Новогодный номер журнала «Новый мир» открывается стихами Марка Максимова: «Мир за нас», «Пассаремос», «Поль Робсон в Москве». Одни их названия говорят сами за себя. На шести страницах перечисляются все страны мира, где велась и ведется борьба против «американских империалистов». Для них не нашлось других определений как «гангстеры», «актеры, перекрашенные в янки».

«Мы же, — смиренно заявляет автор, — в сорок пятом без остатка — патроны сдали старшине».

Рассказ В. Лукашевича «Девушки» является наиболее типичным для послевоенной советской литературы. Действие происходит в колхозе. Мелькают давно знакомые, стертые от частого употребления и неживые образы бригадиров, секретарей, колхозников. Конечно, все концентрируется вокруг выполнения планов, и нет, по мнению автора, большего счастья для человека, чем выполнять несколько норм.

Даже влюбленные говорят между собой только о посевах, кормовых культурах и удобрениях.

Андрэ Стил в романе «Первый удар» (перевод с французского) пишет об ужасающей нищете французской бедноты. Жаль только, что он ничего не сказал о положении людей там, где издается журнал «Новый мир».

Тяжелый пресс социального заказа все сильнее давит на плечи советского писателя.

Л. Тимофеев в статье «О положительном герое советской литературы», после анализа наиболее известных произведений советских авторов, говорит, что центральным героем нового времени является боец-коммунист. Иного, конечно, не могло и быть.

Примерно в таком же порядке следует расположение материала во 2-м номере журнала. Тогда вместо «Девушки» напечатано «Доктор Власенкова» В. Каверина.

Та же забота о судьбе колхозного урожая, заставляющая больных людей (вопреки распоряжению начальства) вскакивать с больничных коек и бежать в бригады.

М. Кузнецов в разборе нового издания «Молодой гвардии», захлебываясь от восторга, пишет об исправлении этой книги.

Короткий обзор можно было бы окончить словами самого Марка Максимова:

«И те же у «Правды» знамена,

И те же у «Правды» враги».

Конечно, не в том понимании, как представляет этот поэт.

Н. Соколов

«НОВЫЙ МИР» — орган Союза Советских Писателей, № 3, март 1952 г.

Повесть Николая Дубова «Огни на реке», которой открывается мартовская книга журнала, по своей теме не нова. Эта тема уже не раз использована в том числе и Валентином Катаевым в известном произведении «Белеет парус одинокий». Дубов, точно так же, как и Катаев, отразил какую-то частицу жизни, преломив ее через мироощущение мальчика. Тем не менее в повести имеется очень много блестящих, которые делают ее теплой и живой, местами ув-

лекательной. Если бы из повести вычеркнуть те строчки, которые насыщены политикой, то можно было бы произведение назвать удачным полностью.

Продолжение романа В. Каверина «Доктор Власенкова» имеет также умело сделанную сюжетную линию, но роман местами скучен оттого, что имеет очень мало общего с действительностью.

Шесть стихотворений армянского поэта Маро Маркарян до отказа пропитаны патриотическим духом, наряду с полным отсутствием художественных достоинств. Ничем не примечательны стихи Юрия Гордиенко и О. Зверева.

Среди остальных материалов, беллетристических и публицистических, заслуживает внимания очерк Веры Инбер «На линии воды». У автора перо держится в руке довольно умело, и рассказывая на этот раз о строительных работах в Ферганской долине, Вера Инбер сумела сделать свой очерк живым и занимательным.

Одним словом, новая книжка «Нового мира» мало чем отличается от предыдущих. Но зато — насколько она разнится от книжек этого же журнала, вышедших в 20-х годах!

К. В.

«ЗВЕЗДА» — орган Союза Советских Писателей, № 3, март 1952 г.

В толстых советских журналах давно уже стало традицией отводить почетное место литературе различных народностей, находящихся под протекторатом Москвы. Во всех подобных случаях руководствуются не художественными достоинствами произведения, а сезонной заинтересованностью тем или иным краем. Допустим, во время сбора хлопка, когда внимание «хозяев страны» привлечено к Узбекистану, в литературном журнале появляются произведения автора-узбека. Правда, вместе с тем имеется еще главная цель — пропаганда национальной политики Москвы: В результате всего этого в журналах часто появляются слабые, неудобочитаемые вещи, которые читатель с досадой пропускает.

Третий номер «Звезды» открывается комедией узбекского драматурга Абдуллы Каххар «Шелковое сюзане». На-

сколько эта пьеса — комедия и какого характера — можно судить по заключительным строкам:

«Много больших дел у тебя, товарищ Сталина! В отпуск приезжай к нам — в зеленые сады Узбекистана. В колхоз наш приезжай, увидишь: как шелк сверкает, наша земля! Приезжай к нам, товарищ Сталин! Заезжай по пути в тенистые леса Кара-Кумов! На пароходе приезжай из Москвы! Просим тебя, товарищ Сталин!»

Надо сказать, что весь номер этого журнала подвержен вышеуказанной традиции. Большая повесть Е. Шереметьева «На далекой реке» посвящена тому как украинские врачи живут в далекой Сибири. Конечно, они беспрдельно счастливы тем, что могут отдать все свои силы выполнению государственных заданий. Стихи Льва Стекольниковца посвящены каракумским дорогам, стихи Марии Пульмановой — о Чехии, дальше представлена латышская поэтесса М. Кемпе. Кроме того имеется очерк Николая Черкасова «Месяц в Румынии» и ряд других материалов, касающихся стран находящихся под большевистским «опекунским» крылом.

А. Г.

Советские книги

А. ФАДЕЕВ. «Молодая гвардия». Издание Детгиз, 1946 г. Издание ЦК ВЛКСОМ, Москва, 1951.

В романе «Молодая Гвардия» на основе событий, действительно происшедших в гор. Красnodон, недалеко от Ворошиловграда (бывш. Луганск), А. Фадеев описывает возникновение, развитие и трагическую развязку восстания группы юношей и девушек, поставивших себе задачей борьбу с немецкими оккупантами. Что это взято из жизни, подтверждают свидетели из Красной армии, занимавшие эти места в феврале 1943 г., ныне находящиеся по эту сторону железного занавеса.

Фадеев имел в распоряжении благо-

дарный материал: юноши и девушки, в своем большинстве в возрасте 14-17 лет, восстали против оккупантов, вели борьбу и погибли. Благодарным этот материал был потому, что в том возрасте, в каком были участники этой, так называемой, «партизанской» группы, высоко-партийных побуждений и стремлений они не имели просто в силу своей молодости.

В первом издании 1946 года Фадеев талантливо и ярко дал потрясающие сцены работы и гибели всей группы. Стремление к борьбе у этих юношей и девушек автор объяснил общечеловеческим стремлением к борьбе против зла, патриотизмом вообще, но никак не советским патриотизмом. «Роли партии» в работе группы в романе издания 1946 года не было.

Это не прошло незамеченным. Уже в последующем издании 1951 года переработанный автором роман выходит с дополнением. Но дополнение это выразилось лишь в том, что в работу этой группы введена была «роль партии». Что же касается внутренних, психологических побуждений, заставивших этих юношей и девушек бороться против оккупантов, то это, к счастью, осталось без изменений... Очевидно, цензура не решилась на коренную ломку романа, имевшего громадный успех в Советском Союзе.

Б. Я.

Алексей ТОЛСТОЙ. Избранные сочинения в 6 томах. Издательство Советских Писателей. Москва 1951.

Вышло два тома. В них собраны известные вещи Толстого: «Азлита», «Хромой барин», «Эмигранты» (Черное золото), «Детство Никиты» и т. д. Избранным сочинениям предпослано предисловие автора, по которому выходит, что коммунистом он был чуть-ли не с колыбели. Автобиография растекается эдаким сладким ручьем от света сталинского солнца. Но Толстой талантлив. Тем печальнее, тем горше читать такие пьесы как «Путь к победе». Там белые офицеры трусы, пьяницы, тупые службисты. Красные — образцы благородства, гуманности. Буденный великодушно дарует жизнь белым и рас-

кающихся принимает на службу. Смотрю на дату написания пьесы — 1938 год. Год ежовщины, расстрелов, гибели миллионов россиян в лагерях рабского труда. А Толстой пишет: «У нас мы поставим, чтобы молоком и медом потекли наши реки, не в сказке, а на самом деле... Но кровь трудно принять за мед. Впрочем, Толстой последнее время, перед смертью, впал в немилость. Не помогла peregrimirovka Петра Первого под «Иосифа Виссарионовича». Индальгенция выданная Кремлем А. Толстому аннулирована. Все же такие романы как «Хромой барин» и «Чудак» останутся. Его эпопея «Хождение по мукам» не лишена интереса и не так перенасыщена сменовеховством, как другие поздние вещи.

Ю. Т.

Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ. «Огненная земля». Гос. И-во детской литературы. Москва-Ленинград 1949.

Геройство вообще свойственно русскому человеку. Это на 335 страницах показывает Первенцев и между строк можно прочесть: когда гитлеровские оккупанты заняли родину, население как один встало на защиту родной земли. Так было в 1812 году, так было в 1611 году. И это беззаветное геройство по существу незачем втискивать в советские рамки.

Передать кратко содержание романа невозможно. Однако в нем есть скрытая идея: реабилитировать моряков-краснофлотцев от затаенного, может быть, недоброжелательства верхов еще со времен кронштадтского восстания. Почему «ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ» (Крым) издан Издательством Детской литературы — понятно. Это рассчитано на поднятие духа патриотизма среди подросткового поколения. Центральные фигуры: капитан Букреев, морские пехотинцы Манжула, Шулик очерчены с каким то особым пафосом. Хочется верить, что пафос не выдуманый. Вероятно это общая участь советских писателей. Пиши не как видишь и чувствуешь, а пиши как повелел Сталин. Но Первенцев несомненно талантлив. Но чем более талантлив писатель, тем бо-

лее «там» эксплуатируют его талант. И горе ему, если он не выполнит задач, данных ему свыше.

Ю. Т.

Григорий МЕДЫНСКИЙ. «Марья». Государственное издательство художественной литературы. Москва 1950.

Война началась. Из колхоза Подсосенки забирают мужчин в Красную армию: сначала призывной возраст, потом — пожилых, а потом и молодняк. Остаются только женщины.

Семен Морозов, хозяйственный, молчаливый внутренне подобранный человек средних лет, также уходит на фронт. Через некоторое время забирают сына Федора. Еще через некоторое время мобилизуют на работу дочь Ксюшу. Остается Марья.

Марья — рядовая колхозница. Но секретарь районного комитета партии присматривается к ней и решает, что она — самородок и что из нее можно что-то сделать. Ее выбирают в председатели колхоза.

Начинается борьба за восстановление колхоза, который перед тем был поставлен очень плохо сыном бывшего подрядчика Порхачевым. Марья растет, справляется и выполняет все задания.

Сын Федор убит на войне. Муж Семен — тоже. Марья — в одиночестве, но это ее не сломило: высокие цели ведут ее в жизни.

Кончается война, приходят мужчины. Марья побеждает их и остается председателем колхоза.

Случайное спасение Семёна на фронте (он оставался у партизан). Его возвращение. Расцвет колхоза. Вступление Марьи в партию. Выход колхоза в «передовые». Награждение Марьи орденом Ленина.

Последние 10 страниц книги — патетика о коммунизме.

Все хорошо: и язык хороший, и люди хорошие (правда, есть и плохие, но их мало); уж если нет явных врагов, то остались «грызуны», ставящие свои личные цели выше колхозных. Есть и свихивающиеся, но они быстро выправляются, и все приходит в норму. Если и появляется что-нибудь плохое, то оно тоже быстро сглаживается. О погибших (а нам ведь известны колоссаль-

ные потери по деревням!) упоминается совсем глухо. Если внизу иногда и бывают темные стороны, то наверху — в Москве, в Кремле — одно только солнце.

Ну, что же? Если бы это было так, то было бы очень хорошо. Но мы знаем, что в жизни все так гармонично не складывается, а потому и не верим автору, выполнявшему социальный заказ и получившему за него сталинскую премию.

Б. Я.

Ал. АЛТАЕВ, М. ЯМЩИКОВА. «Чайковский в Москве». Московский рабочий. 1951 год.

Популярная книга о жизни и творчестве П. И. Чайковского.

Авторы пишут: «Миллионы советских людей — строителей коммунизма с наслаждением слушают Чайковского, любят его музыку». И вот авторы хотят познакомить «строителей коммунизма» с жизнью композитора. И знакомят. Но даже в этом популярном знакомстве авторам пришлось исполнить социальный заказ и отметить две значительных и особенных черты характера Чайковского:

Первая это то, что, оказывается, Чайковский ненавидел гнет и порабощение и в этом свете зачастую проводил и свою творческую работу. Не всюду, но вставлены тонко и умело места, где Чайковский изображен революционером.

Вторая особенность Чайковского еще интереснее. Оказывается, он был очень жизнерадостным, и все то, что раньше исследователи писали о Чайковском, повидимому не совсем верно. Правда, авторы указывают, что меланхолия иногда находила на него, но все же характер он имел совсем иной, — нежный, мягкий и такой жизнерадостный, что порой даже пускался на шалости.

Полезная книга, но в будущем, когда наступит свобода творчества на нашей родине, в это популярное исследование, кажется, необходимо будет ввести серьезные поправки.

Б. Я.

Лев КАССИЛЬ, Макс ПОЛЯНОВСКИЙ. «Улица младшего сына». Повесть. Гос. изд-во Детской Литературы. Москва-Ленинград, 1951.

Все, что в этой повести — от быта, от жизни, особенно от детской жизни, зарисовано сочными красками, колоритно и правдиво; все, что от «социального заказа» — идеальной честности помполиты, ангелы-хранители политруки, мудрые педагоги — бледно и фальшиво.

Володя Дубинин — школьник лет 12-13, потом — пионер при наступлении немцев на Керчь, уходит с отрядом партизан — взрослых и еще нескольких ребят — под землю, в близлежащие каменоломни. Отряд — понятно и Володя — предпринимает ряд героических вылазок. После ухода немцев Володя погибает при разминировании каменоломен.

Авторы учли допущенную Фадеевым в первом издании «Молодой Гвардии» неосмотрительность и наперед ввели повсюду, где следовало, партийный элемент. Однако, в книге очень много общедетского, понятного и естественного. И, если не задерживаться взглядом на неизбежной «дани правительству и партии», то повесть читается легко и очень увлекает; особенно милы сценки зарождающейся симпатии между Володей и его сотоваркой, школьницей Светланой.

Н. Р.

П. А. ПАВЛЕНКО. «Счастье». Гос. Изд-во Художественной Литературы. Москва, 1950.

Главный герой этого, отмеченного сталинской премией романа — Алексей Воропаев, бывший политический работник действующей Красной армии, дошедший с ней до Венгрии, — после нескольких ранений, измотанный непосильной работой, оставив сынишку в Москве, приезжает в Крым, в Ялту (точное место действия не указано, но видимо, это — Ливадия), чтобы найти себе домик, жить спокойно и выздоравливать. Война еще не кончилась. Местность была оккупирована немцами. Все разрушено. Но, встретясь с людьми — работниками райкома, колхозниками — он не удержался и вместо приобретения домика включился в созидательную работу.

В романе описывается несколько десятков персонажей; но интересно отметить, что все они — прибывшие, **приезжие**. Часть из них приехала искать домики, часть — поправлять здоровье, а часть — неизвестно почему. Из местных жителей не выведено абсолютно ни одного человека.

И вот туберкулезный, израненный Воропаев, безрукий сержант Городцов, полумирающий Поднебеско, партизан старик Цимбал, колхозница Огарнова (одна из здоровых), секретарь райкома Корытов — все они на разрушенной оккупантами земле начинают вновь создавать все, необходимое для обычной жизни. Ими владеет созидательный, творческий дух. И в этом и есть счастье.

Книга написана хорошо. Конечно, есть и Сталин и все связанные с этим атрибуты, но заглавие дано не совсем точно: надо было бы впереди добавить две большие буквы: «Н^есчастье». Мы далеки от желания каламбуриуть. Мы не претендуем, а говорим только с грустью.

Б. Я.

А. СТЕПАНОВ. «Порт-Артур». ГИЗ. 1940.

В свое время В. Вересаев написал свои «Записки о Русско-Японской войне», потрясшие читательскую Россию. Книга А. Степанова является как-бы необходимым добавлением к печальной эпохе. Несомненно А. Степанов сам участник, сам бывший портартурец (по некоторым сведениям он сам себя описывает в инженерном офицере, прап. Звзгареве). Книга явно документальна, что не умаляет ничуть ее достоинства. Вереницей проходит портартурский генералитет, от продажного Стесселя, действующего по указке своей супруги, не менее продажного и подлого Фока, держащего связь с японской разведкой. Далее идут генералы — Белый и Кондратенко — белые голуби в стае черных воронов. Кондратенко подлинный герой, неподкупный, любящий русского солдата, погибает «убранный» агентурой Стесселя и Фока. Чудак-генерал «дедушка» не желающий принять георгиевский крест. Наконец «душа-парень» поручик Барейко, сроднившийся с солдатами. Книга написана живо, захватывающе.

Подлинность материала несомненна и это особенно ценно для будущей истории России.

Ю. Трубецкой

Эм. КАЗАКЕВИЧ. «Весна на Оudere». Архангельское Областное Государственно Издательство. 1951.

Весна на Оudere! Прошагав 432 страницы с частями советской армии от германской границы до Берлина, читатель ни разу не ощутит дуновения весны, ее благоуханных запахов, радостно возбуждающих закатов и зорь. Тянется довольно казенный пересказ отдельных операций различных частей армии; несколько «героических» подвигов разведчиков, мудрое руководство действиями и людьми члена Военного Совета Сизокрылова; идеальная фигура врача Тани Кольцовой; целый ряд второстепенных лиц — военных, санитарок, насильственно завезенных в Германию и освобожденных батраков и рабочих и дватри немца, остающихся верными Германии исключительно из личных эгоистических соображений. В конце книги появляется даже Гитлер, причем автору известны даже мысли фюрера в последние часы жизни.

Третья часть книги — «На Берлинском направлении» может представлять интерес или для любителей военного дела, или для лиц, хорошо знающих окрестности Берлина.

В целом книга совершенно не увлекает. Язык — мало художественный, сильно отдает партшколой. Вот несколько образцов:

«Какие они счастливые, эти русские женщины! В красивых мундирах, с пистолетами, настоящие люди, не то, что она, Маргарета, и ее подружки — беспомощные и жалкие беженки».

В итоге книга напоминает ряд фотографий, — бесцветных, серых, посредственно-любительских: советские люди — светлые, немцы — темные. Все бледное, никаких контрастов. И, конечно, над всем парит гениальный Сталин:

Н. Р.

Новинки иностранной литературы

Английская и американская литература

- ARGUS M. K. „Moscow on the Hudson“. 182 p. Harper 1951.
- ALLEN W. G. Square peg. 1951
- CHURCHILL W. „Clothing the ring“. Houghton, 1951.
- CARR E. H. „History of Soviet Russia. 1917—1923“. 430 p. Macmillan, 1951.
- DOS PASSOS John. „Chosen Country“. Houghton, 1951.
- ELLIOT T. S. „Poetry and drama“. Harvard univ. press, 1951.
- FISCHER Luis. „The Soviet in world affairs; a history of the relation between the S. U. and the rest of the world“. 1951.
- FITZGERALD F. „The Stories. A selection of 28 stories“. 1951.
- GALSWORTHY J. „Intimate portraits“. 1951.
- GREEN Graham. „The power and the glory“. 388 p. 1951.
- „The End of the Affair“. Heinemann, London, 1951.
- „The Lost Childhood“, Eyre a. Spottiswoode London, 1951.
- GOYEN W. „House of breath“. 1951.
- GURIAN Waldemar. „Soviet Union Background, Ideology, Reality“. Indiana, 1951.
- HIGLEY R. „Chekhov; a biographical and critical study“. 278 p., Macmillan, 1951.
- HOOVER H. „The memoirs“, Macmillan, 1951.
- ILYIN Boris. „Green Boundary“. 312 p. Houghton.
- KOESTLER A. „Age of longing“. 362 p. Macmillan, 1951.
- NABOKOW N. „Old friends and new music“. 294 p. Little, 1951.
- NABOKOW V. „Conclusive evidence; a memoir“. 240 p. Harper, 1951.
- PRIESTLEY J. B. „Festival“. 607 p. Harper, 1951.
- POWELL A. „Question of upbringing“. 1951.
- SCHYBERG F. „Walt Whitman“. 1951.
- SAROYAN W. „Tracy's tiger“. Doubleday, 1951.
- „Rock Wagram“. 301 p. Doubleday, 1951.
- SPERBER M. „Burned branible“. 405 p. Doubleday, 1951.
- SETON-WATSON H. „East European revolution“. 406 p. Prager, 1951.
- SHOW Yrwing. „Troubled“. 418 p. Random house, 1951.
- STRUVE Gleb. „Soviet Russian Literatur, 1917—1950“. 414 p. Norman, 1951.
- STYPULKOWSKY Z. „Invitation to Moscow“. 359 p. Mr. Kay, 1951.

Немецкая литература

- ANDERS G. „Kafka. Pro und contra“. S. 109. Beck, 1951.
- ANDRES Stefan. „Die Sintflut“, II. Teil „Die Arche“. S. 679, Piper-Verlag, 1951.
- „Die Häuser auf der Wolke“. Middelauve-Verlag, 1951.
- „Die Liebesschaukel“. S. 250. Piper-Verlag, 1951.
- „El Greco malt den Großinquisitor“. S. 59. 1951.
- ALTHAUS P. P. „In der Traumstadt“. S. 75. Stahlberg, 1951.
- AICHINGER Ilse. „Spiegelgeschichte“, „Merkur“ Nr. 47, 1951.
- BARTH Emil. „Der Enkel des Odysseus“. S. 74. Hamburg. Claasen, 1951.
- BENN Gottfried. „Statische Gedichte“.
- „Problem der Lyrik“. Vortrag 21. August 1951, Wiesbaden.

- BEUMELBURG W. „Nur Gast auf dunkler Erde“. S. 428. Stalling, 1951.
- CAROSSA H. „Ungleiche Welten“. S. 342. Insel-Verlag, 1951.
- DWINGER E. E. „General Wlassow“. S. 344. Dikreiter-Verlag, 1951.
- ERATH V. „Größer als des Menschen Herz“. S. 459. Wunderlich-Leins-Verlag, 1951.
- FEUCHTWANGER Lion. „Goya oder der arge Weg der Erkenntnis“. S. 684. Frankfurt/Main, Neuer Verlag, 1951.
- KÄSTNER E. „Der kleine Grenzverkehr oder Georg und die Zwischenfälle“. S. 139. Ullstein, Wien, 1951.
- LASKER-SCHÜLLER E. „Dichtungen und Dokumente“. S. 630. Kösel-Verlag, München, 1951.
- LANGGÄSSER E. „Geist in den Sinnen behaust“. S. 199. Grunewald-Verlag, 1951.
- NEUMANN A. „Dostojewskij und die Freiheit“. Eine Rede. Verlag Albert de Lange. Amsterdam, 1951.
- RUDZKA Marta. „Workuta“. S. 268. Thomas-Verlag, Zürich, 1951.
- RILKE R. M. „Unveröffentlichte Briefe und Gedichte“. Insel-Verlag, 1951.
- RISSE Heinz. „Selbstgespräche des großen ‚Ichs‘“. List-Verlag, 1951.
- „So frei von Schuld“. List-Verlag, 1951.
- REMARQUE E. M. „Drei Kameraden“. S. 448. Prestel-Verlag, München, 1951.
- STEPUN Fedor. „Die Liebe des Nikolaj Pereslegin“. S. 168. Hauser-Verlag, München, 1951.
- TSCHIZEWSKIJ Dmitrij. „Altrussische Literaturgeschichte im 11., 12. und 13. Jahrhundert“. S. 965. Klostermann-Verlag, 1951.
- WIECHERT Ernst. „Der Exote“. S. 226. Prestel-Verlag, 1951.
- „Es geht ein Pflüger übers Land“. S. 216. Ebda, 1951.
- „Wälder und Menschen“. S. 257. München, Desch, 1951.

Литературные премии за 1952 год
(René-Schikele-Preis):

- RICHTER Hans Werner. „Sie fielen aus Gottes Hand“.
- AICHINGER Ilse. „Die größere Hoffnung“.
- BECKER Franziska. „Bevor die Nacht kam“.
- BÖLL Heinrich. „Wo warst du, Adam?“
- LENZ Siegfried. „Es waren Habichte in der Luft“.
- RINSE Luise. „Mitte des Lebens“.
- RISSE Heinz. „Wenn die Erde bebte“.

Французская литература

Премии Гонкура за выдающиеся литературные произведения в 1951 году
(Le Prix Concourt):

- Julien GRACQ. „Rivage des Syrtes“.
- Luc ESTANGE. „Cherchant qui dévorer“.
- Luise de VILMORIN. „Madame de...“

Премия «Фемина»
(Le Prix femina):

- Anne de TOURVILLE. „Jabadao“.
- Bruno GAY-LUSSAC. „La ville dort“.

Премия Теофраста Ренодо
(Le Prix Théophraste-Renaudot):

- Samuel BECKETT. „Madone meurt“.
- André GUILLOT. „L'horloge“.
- Robert MARGERIT. „Le Dieu nu“.

Интернациональная премия в области поэзии

(Le Prix international de Syranus):

- GIONO J. „Le hussard sur le toit“.
- „Les grands chemins“.
- „Les âmes tortes“.

- GROUSSARD S. „Talya“.
- GILBERT O.-P. „L'horizon de minuit“.
- GARD M. du. „Notes sur André Gide“.
- HELLENS F. „L'homme de soixante ans“.
- HALÉVY. „L'abbé Constantin“.
- IKOR R. „Les grands moyens“.
- JEENER J.-B. „Les chemins de l'amour“.
- KORIAKOFF M. „Moscou ne croit pas aux larmes“.
- LECOMTE G. „Le Goinfre vaniteux“.
- MALRAUX A. „L'oeuvre romanesque“.
- MAURIAUX F. „Sur vèlin du Marais“.
- MAURIAUX C. „Conversations avec André Gide“.
- MOHRT M. „Les Nomades“.
- MAUROIS A. „Nouveaux discours du Docteur O'Grady“.
- PILOTAZ. „La part du ciel“.
- PERRET Y. „Bande à part“.
- SARTRE J.-P. „Le diable et le bon Dieu“.
- SEIGNE Cl. „Les lois obscures“.
- SERGE V. „Les derniers temps“.

Составила Б. Ростова

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Б. Яковлев — В сумерках	3
А. Голубцов — Жизнь, волной размытая	5
Ирина Сабурова — Профессор истории	14
В. Ландышев — Тринадцатая ночь . .	22
Юрий Корецкий — Чапай	30
Нильский — Конь вороной. Бомба . .	33

СТИХИ

Георгий Иванов, Н. Бернер, Ф. Подгор- ный, И. Бушман, О. Ильинский, К. По- меранцев и С. Любимов	35
--	----

ГОЛОСА ПОГИБШИХ

Б. Пильняк — Красное дерево	41
А. Воронский — Борис Пильняк . . .	48
Дм. Фалькивский — Стихи	50
О. Мандельштам — Стихи	51
Ю. Олеша — Мой знакомый	52

ПЕРЕВОДЫ

А. Жид — «Возвращение из Советского Союза»	56
Г. Бени — Стихи	61
Ж. Руно — Письмо в редакцию журнала «Литературный Современник»	64
Ж. Руно — Мой друг Вася	65

ВОСПОМИНАНИЯ

Аук. Гаев — Дважды потерявший себя	71
Б. Яковлев — Из прошлого	78
Вад. Вербин — Борис Пильняк . . .	80
Ар. Карев — Дмитро Фалькивский . .	83
С. Гарай — Галимзян Ибрагимов . . .	85

КРИТИКА

Е. Жбиковская — Великое искушение .	87
Л. Ржевский — Советская литература и советская критика наших дней . .	94
Н. Анатолиева — В поисках положитель- ного героя	102
Н. Ильинская — Хемингуэй и Стейнбек	107
Г. Гейльмайер — Пионер современной жи- вописи	112

БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. Большухин, К. В., А. Г. М. Коломац- кий, Игорь Липовецкий, Н. Р., Н. Со- колов, Ю. Трубецкой, Ю. Т., Б. Я., . .	115
Новинки иностранной литературы . . .	124

**Contemporain Littéraire — The Literary Contemporary
Der literarische Zeitgenosse**

Все права сохраняются за журналом.
Перепечатка, с разрешения редакции.
**Touts droits réservés. Reproduction seulement avec
autorisation de la Redaktion.**
All Rights Reserved by the editorial board.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.

Редакционная коллегия:

**АРК. ГАЕВ
Б. РОСТОВА
М. СОКОЛОВ
Б. ЯКОВЛЕВ**

Главный редактор **Б. ЯКОВЛЕВ**

Адрес редакции:

Deutschland, München 62, Postschließfach 31

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННОК

Журнал литературы и критики № 1

Содержание: проза: С. Юрасов. Враг народа. Горе тому же кувшину. М. Соколов. Мы ж не они. А. Богданович. Страх. Две миниатюры. Б. Яковлев. Алоэ. А. Перфильев. Последний поезд из Мюнхена. Е. Гагарин. Старая фрейлина. Стихи: поэты, чьи имена не могут быть названы, А. Котлин, И. Елагин, О. Анстей, И. Бушман, А. Шишкова, О. Ильинский, Л. Алексеева. Траурный список. Голоса погибших: стихи Б. Корнилова, А. Бондаревского, Л. Длигача, рассказ Ш. Сослани «Дом № 10 на Страстном».

Переводы: А. Кестлер. Отрывок из романа «Солнечное затмение». Воспоминания: М. Бобров. Революция в селе. Ф. Степун. В поисках героического театра. Критика: В. Федоров. Зеленые скиты. В. Завалишин. Есенин и Маяковский. А. Волков. Таиров. Ю. Юревич. Габричевский.

Рецензии: Гаев, Никонов, Казанский, Степун.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННОК

Журнал литературы и критики № 2

Содержание: проза: А. Голубцов — Жизнь, волной размытая. В Завалишин — Мир под косым углом. Б. Яковлев — Рассказы. Л. Дувинг — Я упрекаю Бога. М. Соколов — Концерт по «заявке» С. Балыков — Сильнее власти.

Стихи: Лев Ф., Кирилл Л., Н. Ирколин, А. Кассим, Ф. Подгорный, А. Ростовский, А. Р. и В. Денисов.

Голоса погибших: стихи: Б. Пастернак, Т. Табидзе, Н. Сидоренко, А. Зорич — Разговор в вагоне.

Переводы: Виктор Серж — Отрывок из романа «Дело Тулаева».

Воспоминания: И. Иванов — И я жил в этом раю, С. Петров — Судьба поэта.

Критика: Р. Менский — О языке, А. Гаев — Идиллия по заказу, О. Анстей — Мысли о Пастернаке, А. Волков — Мейерхольд, В. Федоров — Марк Шагал (репродукции в тексте иллюстрируют эту статью).

Библиография: Рецензии Л. Ржевского и В. Завалишина.

Некролог. А. Голубцов.

